

В одну из хмурых, октябрьских ночей 1943 года к полузабытому лесному полустанку, скрипя и постанывая на рельсовых стыках, словно уставший и больной человек, подошёл железнодорожный состав.

Паровоз сипло рявкнул, окутался дымом и паром, заскрипел тормозами и загремел сцепами. Состав вздрогнул и остановился.

В холодных вагонах из железных бочек, переделанных в печки–буржуйки, щёлкая и дымя, посыпались угольки и зола.

Короткий состав, составленный лишь из нескольких теплушек, почти сливался с небом. В темноте едва угадывалось его смутное очертание.

Это был воинский эшелон. В нём доставили пополнение для фронта. В двух крайних вагонах на двухэтажных неструганных нарах ехали безоружные красноармейцы – вчерашние зэки, окруженцы, дезертиры и бывшие пленные, освобождённые из немецких лагерей.

На площадках за вагонами кутались в шинели от холодного ветра охранники с винтовками. Двери вагонов были закрыты, щеколды перевязаны толстой проволокой.

Впереди, где натруженно пыхтел паровоз, ярко светился зольник. На испачканное мазутом полотно сыпалась жаркая светящаяся зола. Высоко в небе висела одинокая, бледная луна. Воздух в лесу был сырым, холодным, и в нём тревожно стыла осенняя тишина.

В свете тусклой ночной лампочки дрожала неровная тень часового, стоявшего на платформе рядом с закрытой металлической дверью. На стене осенний ветер трепал плакат: «Берегись сыпного тифа!» Бумага плакатика была серая, шершавая, словно тельце тифозной вши.

Чумазый маневровый паровозик устало тянул по запасным путям цистерны с мазутом, и пожилой усатый железнодорожник махнул ему жёлтым флажком. На его спине коробился мокрый серо-зелёный плащ, под которым для тепла был пододета ватная грязноватая телогрейка.

Луч прожектора пробежал по крыше полосатой будки и дому путевого обходчика. Ключья тумана, будто куски рваной простыни, неряшливо свисали с берёзовых веток и сосновых лап. В воздухе плавало беспросветное отчуждение, словно кто-то чужой и страшный не хотел пускать в это безмолвие посторонних людей.

Из головной теплушки выскочил маленький капитан в длиннополой, мешковатой шинели, запнулся о рельсы, устоял и зарорал вдоль путей:

– Выходи строиться! Быстрее! Не задерживаться!

Крик офицера разорвал и вспугнул утреннюю тишину.

Уже через минуту, словно эхом, разнеслись хриплые громкие голоса младшего комсостава вперемешку с нервной, злой матерщиной и скрипом отодвигаемых вагонных дверей.

Воинский эшелон, грязный, пыльный, сгружался.

Ёжась от ночной прохлады и прерванного сна, бойцы соскакивали на испачканную мазутом землю и торопливо становились в строй. На полустанке темно, небо было серым, в мелких крапинках звёзд.

Лученков кубарем скатился с нар, поспешно надел шинель, подпоясался, схватил тощий вещмешок и выпрыгнул из вагона.

Под ногами шуршала стылая щебёнка, *вобравшая в себя ночной холод* и влагу. Холодный воздух пах дождём и паровозным дымом. Отблеск луча прожектора лежал на затворах винтовок и лицах солдат, одинаково безликих и молчаливых.

– Стан-но-вись! – вновь закричал офицер. Он стоял под фонарём, сцепив руки за спиной, смотрел на строившихся солдат.

Откуда-то со стороны на людей уже накатывала едва ощутимая волна близкого фронта, смертельной опасности и тревоги. А сверху, с самых небес на них смотрели ангелы смерти Азраил и Аваддон, выбирая для себя тех, кого совсем скоро они должны были забрать с собой в Царство мёртвых.

Пристальные взгляды ангелов проникали в души людей сквозь толщу тумана, шинели и гимнастёрки, и они, до этой минуты галдевшие, покрикивающие, похохатывающие, постепенно стихали, прислушиваясь к новому и доселе незнакомому им ощущению.

Отдельно от маршевой колонны, рядом с крайними теплушками стояла разношёрстная толпа. С первого раза было не понять, кто это такие. То ли солдаты. То ли уркаганы.

Одеты они были в форменную одежду армейского образца, но без погон и звёздочек на пилотках.

Вид – расхлябанный. На руках татуировки.

По рядам пошёл гулять шёпот:

– Штрафники!.. Штрафники!..

Кто-то из новобранцев, в новом, ещё необмятом обмундировании с интересом вытягивал шею.

– Где?.. Где штрафники?

Молодой блатарь с перебитым носом, стоящий в строю штрафников, хищно улыбнулся, показывая металлические «фиксы», и спросил раздражённо:

– Чего зенки топыришь? К нам хочешь?

Новобранец уловил в его тоне угрозу, нервно затоптался на месте, стараясь не встретиться с блатарем глазами, и нырнул за спины других бойцов.

Штрафники! Одно это слово бросало в дрожь.

Штрафная рота – на несколько часов боя. В лучшем случае – на несколько суток. Первый эшелон в наступлении. Первая траншея в обороне. Назад – ни шагу.

Попасть в штрафную часть, почти всегда означало одно – погибнуть. Или стать инвалидом. Но это в лучшем случае. Смертники!

– Товарищ старшина – не унимался блатарь, – разреши к фраерам сходить. Все бабки ваши, жратва – наша. Всё по закону!

– Какой я тебе товарищ! – огрызался старшина. – Серый волк в лесу тебе товарищ. Кончай базар!

– Зря ты так со мной, старшина, – не унимался задиристый парень. – Я двух легавых загрыз, пока меня не скрутили – и тебя загрызу, не поморщусь!

– Я те загрызу, сявка, – вскипел старшина. – И до фронта не доедешь! Сейчас отведу за путя и шлёпну. Я таких в Гражданскую.... огрызок!

Штрафники засмеялись.

– Раз-говорчики! Ста-новись! Равняй-сь! – заорал капитан.

Подошёл лейтенант. Прикрикнул, – а ну тихо!

Пополнение для штрафной роты отвели в сторону, отдельно от общего строя. Командиры провели переключку, доложили капитану.

Тот провёл краткий инструктаж. Приказал не курить в строю. Предупредил, что отставшие и потерявшиеся приравниваются к дезертирам, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Кто-то из штрафников запальчиво крикнул из середины строя:

– Напугали б.... абортом!

Крикуна перебил хриплый насмешливый голос.

– Молчи, Клёпа! Вологодский конвой шуток не понимает. стреляет без предупреждения!

Раздался хохот.

Капитан выждал, когда смех утихнет. Покатал желваки. А потом сказал медленно и отчётливо:

– Ну вот, опять весёлые попались. В прошлом эшелоне было двое таких же. Смеялись и досмеялись. Метрах в ста отсюда лежат. Для них война уже закончилась!

Сказал он это так буднично и просто, что все поверили. Так и есть. Шутки закончились. Помрачнели.

Капитан, уловив смену настроения, усмехнулся.

– Ну что, пошутковали?!

– Куда идем-то? – крикнул кто-то.

Капитан не ответил, дал отмашку рукой.

Стоявший рядом старшина громко, напрягая на шее жилы, гаркнул:

– Напраа-у! Шаго-оом арш!

Эшелон двинулся назад, а штрафников повели в сторону фронта. Уже светало.

Багово-красное солнце поднималось из-за кромки леса. Чёрными провалами зияли неприкрытые двери вагонов-теплушек.

Были эти провалы мрачны и неразличимы, словно будущее этих людей, целой страны. Чернота как бы сожрала всякую надежду.

* * *

Через пару часов марша до колонны донёсся странный низкий гул.

Все поняли, что это канонада. Значит, фронт рядом.

В штрафники часть бойцов попала из кадрового состава. Это были бывшие красноармейцы и сержанты всех родов войск: пехота, артиллеристы, танкисты. В основном обыкновенные «залётчики», отправленные в штрафную за нарушения дисциплины: самоволки и пьянство. Были и осуждённые за соверше-

ние воинских преступлений: самострелы, дезертиры, растратчики, или просто те, кому не повезло.

Один из них – Аркаша Гельман. Служил он в запасном полку, охранял склад. Однажды подошёл начальник караула – старший сержант Ширяев. За ним – сани с двумя лошадьми в упряжке. Ширяев – старослужащий, взрослый, авторитетный. Молча, отобрал у часового винтовку. Штыком скovyрнул замок с двери склада. Потом погрузил на подводу продукты и уехал.

Гельман понял, что произошла самая обыкновенная кража, которой он не помешал.

Нужно было доложить командованию.

Но ему было всего семнадцать, а кражу совершил начальник караула.

К тому же, как закладывать своего брата солдата? А если завтра вместе с ним на фронт?

Пока Гельман решал для себя непростую дилемму, прибывшие кладовщики обнаружили кражу и подняли шум.

Командир полка дал команду, немедля отыскать воров! Целая группа командиров и дознавателей рыла и копала. Хотя чего было искать?

Ширяев уже с самого утра ходил под мухой, а у Аркаши Гельмана в глазах читалась вековая печаль всего еврейского народа.

Естественно, его арестовали. Затем увели сержанта. У Гельмана забрали комсомольский билет и другие документы. Неделю он просидел на гарнизонной гауптвахте в ожидании приговора.

Процедура трибунала почти не запомнилась. Оба сразу же сознались. Учитывая военное время и тяжесть совершённого проступка, председатель трибунала через десять минут зачитал приговор: обоих к расстрелу. Факты были налицо, время суровое. Военное!

Когда уводили из зала, Гельман обратил внимание на плакат, висевший на стене: «Кончил дело – уходи!»

В голове мелькнуло: «Дело окончено, теперь можно и на тот свет».

Двое солдат повели вниз, в полуподвал, в дальний конец почти совсем тёмного мрачного коридора, вдоль которого неспешно расхаживал часовой с револьвером в кобуре. Железная дверь, круглый глазок. Щёлкнул ключ, скрежетнул засов.

За спиной глухо хлопнула дверь. Скрежет, щелчок... щелчок...

В камере темно. Слабо сереет, вернее, слегка угадывается окно, забранное ржавой решёткой.

Привиделось, будто по камере похаживает расстрелянный в 37 году дед.

– Дедушка, тебя не убили? Ты живой?

Дед сапогами поскрипывает, то и дело спички чиркает – потухшую папиросу зажигает. А папиросы хорошие, душистые...

– Ну как же живой, внучек? Убитый, Аркашенька. Как есть мёртвый. Но ты не бойся. Это не больно.

– А как расстреливают, дедушка?

Дед сел на корточки перед дверью, мигнул Аркаше и говорит:

– По разному внучек. Если заключенных много, ночью вывозят на полигон. А если немного, тогда прямо в подвале. Тоже ночью. Из нагана в затылок.

– А почему из нагана, а не из винтовки? Или маузера?

– Эхге-эхге-эхге! – засмеялся, как закашлялся, глубинным, хриплым своим смехом дед:

– Из нагана, это чтобы потом из кровавых луж гильзы не собирать.

Потом дед пропал, как растворился. Ночь прошла в каком-то полузабытьи.

Сон – это ведь репетиция смерти, разве можно спать людским сном перед сном вечным?

Утром дали тёплую баланду. В алюминиевой миске, тараша белёсые глаза, плавали рыбы головы. Гельман ничего не мог есть. От одного вида баланды подкатывала тошнота.

Все силы уходили лишь на то, чтобы уговорить себя: не орать, не завывать, не забиться от смертельного страха под нары.

От ночной беседы запомнилось, что расстреливают по ночам. Поэтому днём он полудремал-полубодрился. И вновь наступала ночь, долгая, как тоска. Может быть, последняя... Время останавливалось...

Он тяжело лёг на нары лицом вниз. Тело исходило страхом и вонючим, нутряным, будто прямо из кишок выделявшимся потом. Он взмок, озябнув, плотно прижался к нарам, чтобы согреться.

И вдруг отчётливо услышал шаги. Они смолкли перед камерой. Слух обострился как у зверя.

Как долго длится отпирание дверей снаружи: весь этот бряк, скрежет, скрип.

Наконец ключ совершил положенные обороты. Лязгнул заков.

Обитая железом дверь ржаво распахнулась. На пороге камеры стоял конопатый насупленный конвойный в гимнастёрке. На его ремне кирзовая кобура с наганом.

«Гельман! – бросил конопатый. – На выход!»

Мелькнула мысль: «Господи!.. Ну вот и конец!»

Шли тёмными коридорами и вдруг остановились. Надзиратель подвёл к обитой чёрным дермантином двери.

Гельман с огромным трудом пересилил себя, открыл дверь и зажмурился. Так и стоял с закрытыми глазами, ожидая пули в затылок. Ожидание казалось бесконечным.

В кабинете за столом сидел офицер, с двумя большими звёздами на погонах. Перед ним стояла лампа с зелёным абажуром. Подполковник поднял голову, выставив вперед ногу, как при замедленных кадрах в кино, опустил руку на кобуру с наганом и скомандовал:

– Входи! Стоять смирно!

...Должен был бы лежать бывший рядовой Гельман в одном нижнем белье в заполненной водой яме, куда скидывали всех приговорённых и расстрелянных, но, наверное, вмешался сам Господь Бог.

Полк отправляли на фронт, и оперуполномоченный НКВД упрямил председателя трибунала заменить расстрел штрафной ротой.

Вот уж воистину, встречаются на свете звери среди людей, и люди среди зверей. Подполковник дал расписаться в какой-то бумаге о том, что «высшую меру наказания заменить десятью годами ИТЛ».

Гельман зашатался и чтобы не упасть ухватился руками за край стола.

Потёр виски, пытаюсь восстановить душевное равновесие. Только потом сообразил – у него появился шанс выжить. Ведь штрафная это ещё не расстрел! Есть такое выражение – «ватные ноги».

У него было ощущение, что его ноги сделаны из ваты.

Гельмана отвели обратно в камеру. Вот так Аркаша и оказался в штрафниках.

Утром на печатной машинке отпечатали новое удостоверение личности. И поехал он на фронт вместе со своим полком, но только в отдельной теплушке, под охраной НКВД.

Сержанта Ширяева он больше не встречал. Может быть, расстреляли, а может быть, тоже попал в штрафную роту.

Небольшую часть штрафников составляли блатари-урки, жулики, карманники, скокари, которым срок отбытия в лагере заменили штрафной ротой.

Эти держались особняком от армейцев. Было их в роте немного, человек двадцать. Сапоги они называли прохарями, бритву – мойкой, охрану – вертухаями.

Их сплочённость и непонятный язык вызывали робость. Готовность по любому поводу и без повода кинуться в драку – страх и уважение.

В строю, среди блатяков, шагал Энгельс Лученков. Внешности он был неприметной, роста среднего, худощав, подвижен. Волосы и брови выгорели у него до одинакового светло-пшеничного цвета, ворот гимнастёрки всегда был расстёгнут, пилотка на затылке.

Слева от него, в строю, не улыбочивый парень лет тридцати с небольшим шрамом над правым глазом и обтянутыми сухой, словно дубленой, кожей скулами. Звали его Никифор Гулыга, и был он вором. В прошлом – медвежатник, домушник. Профессии серьёзные и уважаемые в преступном мире. Жизнь за ним угадывалась страшная: воровал, садился, бежал, был пойман и страшно бит.

За спиной Лученкова располагался Миха Клёпа, картёжник и аферист.

Гулыга был молчалив, сдержан, порою слишком упрям, и всегда считал себя правым. Родился в год начала Германской войны. Уходил в побег. И даже свои относились к нему с опаской, потому что был опасен и коварен, как медведь. Никогда не знаешь, что у такого человека на уме.

Он был, несомненно, одной из самых ярких фигур того не совсем обычного мира, с которым Энгельса Лученкова столкнула лагерная и фронтовая судьба.

Лученков на десять лет моложе Гулыги. Появился на свет в год смерти Ленина.

Его отец, Иван Степанович, в семнадцать лет ушёл из семьи в революцию, бороться за свободу и справедливость.

Он был из романтиков, воспевающих революцию. Родившего сына назвал Энгельсом, в честь соратника Карла Маркса. Говорил: «Если погибну за Советскую власть, то похороните. А на могиле скажете хорошую речь, дескать, погиб дорогой товарищ на боевом посту!» И смеялся коротким, злым хохотком, похожим на кашель.

Он прошёл долгий, извилистый, по-своему трагический путь русского бунтаря. Успев окончить три класса церковно-приходской школы, он всё время стремился выбиться в люди, наверх, но внутреннее бунтарство не позволило ему согласиться с про-

исходящим. Поагитировав за Советскую власть и раскулачив несколько своих соседей, отец скоро разочаровался в колхозном строительстве и, ещё будучи на должности председателя, ушёл в глубокий запой.

Не принесла революция счастья ни ему, ни Энгельсу, ни его семье. В пьяном угаре и угрызениях совести Иван Лученков застрелился в 1931 году. Похоронили его у сельсовета. Из металлического листа вырубили звезду. Приклепали к железному пруту. Заострили конец. На звезде краской написали имя, фамилию, год, день рождения, день смерти.

Комбедовский оркестр из гармошки и двух балалаек исполнил «Интернационал». А Энгельс с тех пор стал расти безотцовщиной. Он рано вышел из-под материнского контроля, перестал учиться. Потом *связался* со шпаной.

«Ты, Лученков, портишь нам все показатели по школе. А ещё сын большевика!», – укоризненно твердили учителя.

«Двоечник, дармоед!» – кричала мать.

Когда Энгельс подрос, его дед Степан, подвыпив, хрипел страшным голосом:

– Шлялась у нас тогда по России одна французская б... , Революцией звали. Вот в честь её смутьяна папашка тебя и называл!

Дед был бородат. Борода его была чуть курчавая, отливала старческим серебром. Любил читать книги, откуда и черпал знания о французской революции и легкомысленных женщинах.

Вспоминая сына, он наливал себе мутного хлебного самогону в гранёный стакан и долго молчал, со всей крестьянской обстоятельностью вспоминая, какой он был, его сын – Ванька. Выпив, вытирал седые прокуренные усы ладонью, вздыхал:

– Вишь, ты как!.. Всех Ванька хотел осчастливить... перехитрить... Вы в комунизму, а я впереди всех и вроде как главный!

Пахал бы землю, не высовывался, глядишь, и жил бы себе в своё удовольствие!

Махнув рукой и вытерев скатившуюся слезу, дед опрокидывал в себя ещё стакан.

Посадили Энгельса Лученкова в сороковом году. Статья разбой, или вооружённое нападение с целью завладения государственным имуществом, соединённое с насилием, опасным для жизни и здоровья.

Вроде сделали всё чисто. Ночью взяли магазин. Запрятали галантерею. Легли на дно. А через трое суток пришли к нему ночью двое. Непонятно, как под утро вошли в его комнату, дверь

открыли без скрипа и без ключа. Показали «фигуру», револьвер то есть. Сказали: «Пошли».

Видать, большой опыт был у этих гостей в таких делах.

Не торопясь, просто и буднично, словно на утреннюю прогулку – двое оперативников НКВД и он посередине двинулись к оставленной на соседней улице машине. Как пацан со старшими братьями...

И покатил вперёд автомобиль с погашенными огнями, где сидел он, зажатый между провожатыми, и форменная фуражка покачивалась впереди рядом с шофёром.

Пробыл Лученков в следственной тюрьме недолго. Быстрое следствие, суд, приговор: десять лет лишения свободы. Повезло. Могли и разменять, то есть применить высшую меру социальной защиты.

Потом снова наручники, конвой, «воронок», железнодорожные пути, где стоял большой состав. Столыпинский вагон с решётками на окнах и вооружённым конвоем.

Ехали долго, куда везли – неизвестно. А потом на какой то станции выдернули несколько человек. Среди них – Лученков. Снова конвой, собаки, кругом снег. И пошли они пешком по сугробам на комендантский лагпункт. А столыпин поехал дальше.

Первая зима в лагере была страшной. Нечего жрать, холод, кругом уголовная шпана. И тут снова повезло! Началась война!

К этому времени Энгельс уже не был таким романтиком, как его отец. Своё революционное имя презирал, поэтому всем говорил, что зовут его Глеб.

На фронтах протяжённостью в тысячи километров шли тяжелейшие бои.

Немцы, чего от них никто не ожидал, оказались сокрушительно сильнее Красной Армии. День за днём их самолёты осыпали позиции советских войск бомбами, секли пулемётным огнем. Двухмоторные штурмовики Мессершмитты-110 яростно гонялись за машинами и даже за отдельными бойцами.

По русским дорогам катили и катили колонны фашистских танков, мчались грузовики с пехотой, тягачи волокли огромные пушки.

Германские батареи не жалели снарядов и щедро обкладывали ими советские части. Они били в строго определённые часы, из всех калибров – прицельно, и по площадям. Листовки, густо сыпавшиеся после бомбёжек, сообщали о новых победах Вермахта по всему фронту от Белого до Чёрного моря.

Третий лагпункт находился в стороне от железной дороги. До ближайшего посёлка нужно было топать пять километров. Огромная территория лагеря, словно паутиной, была опутана колючей проволокой.

Заканчивался утренний просчёт-переключка. Из-за туч *выползало блёклое солнце*. Тусклые лучи устало ласкали пожухшую траву, торчащую, вдоль колючей проволоки. Она выгорела и умерла буквально за несколько дней жаркого тайшетского лета. Трава не человек, она не умела приспособливаться.

Журавлиный клин уносил на своих крыльях последнее тепло и короткое сибирское лето.

Начиналась промозглая сырая осень. Деревья стояли жёлтые, по ветру летели мелкие листья. Шли дожди. Тяжёлый сырой воздух был налит гнилью, запахом мокрой земли.

В глубине жилой зоны виднелись ряды приземистых покосившихся бараков, сколоченных из брёвен и старых досок. Из щелей торчали пучки серой пакли. Стены вместо завалинок подпирала земляная насыпь. На некоторых окнах вместо стекла забитые фанерой рамы.

Ветер трепал линялое полотнище с надписью: «Коммунизм – неизбежен!», растянутое на крыше штаба.

Это утро начиналось как обычно.

В предутреннем небе над лагерем таял умирающий месяц. Белый луч прожектора скользил над частоколом и колючей проволокой.

По другую сторону частокола, в злой тоске, взад-вперед трусили от вышки к вышке продрогшие овчарки. Со всех четырёх сторон на зону были наведены пулеметы. Лагпункт казался мертвым: в предутренней тишине не раздавалось ни звука. Тускло мерцали прожектора.

Заключённые спали, досматривая последние кадры своих снов. Они не отличались разнообразием. Всем снилось одно и то же. Кому-то еда. Кому-то женщины.

Многие спали в ватных штанах, укрывшись для тепла ватниками.

Порой кто-то вскрикивал во сне или что-то бормотал. Заключенные по ночам часто кричат – все дневные страхи, прячущиеся в подсознании, лезут наружу. Многие кряхтели, стонали, почёсывались...

В углу барака, сидя за дощатым столом, под тусклой, засиженной мухами лампочкой, свесив голову на грудь, дремал дневальный.

Мимо него прошмыгнула серая крыса, села на хвост как собака, ощупывая воздух длинными, тонкими, мелко подрагивающими усиками.

По ночам крысы сновали по всему бараку. Пищали под серыми досками пола, запрыгивали на нары. Грызли всё, что им попадалось – мыло, табак. У тех, кто прятал в карманах пайку или сахар, просто выгрызали карман.

Заскрипела входная дверь барака. В дверном проёме мелькнул серый, как простокваша, рассвет.

Крыса махнула длинным хвостом и скрылась в темноте под нарами.

Дневальный поднял голову, посмотрел вокруг мутными ничего не сообщающими глазами и вновь провалился в сон.

Кто-то прошаркал к остывающей печке. Остановился. Промёрзший. Сутулые опущенные плечи. Бесхарактерный слабый подбородок, приоткрытый рот и болтающиеся уши шапки ушанки делали его похожим на старую большую собаку.

Это Шемякин, в прошлом профессор математики. Карьера удалась. Сейчас он числился золотарём. По ночам чистил выгребные ямы. Днём спал. Его место было в петушином углу. Но бывший профессор всё равно ценил свою работу и дорожил местом.

Шемякин расстегнул телогрейку и тощим, грязным животом прижался к теплым кирпичам. На его лице было всегдашнее выражение истовости, сознания долга и какого-то унылого восторга.

Так он блаженствовал, даже мычал от удовольствия несколько минут.

За окнами барака с каждой минутой становилось всё светлее. Пахло осенней сыростью, землёй, стылой вонью человеческого праха.

Неожиданно на вахте отключили рубильник. Прожектора и фонари по всему периметру зоны погасли.

И ночь опрокинулась, спряталась за грозowymi тучами. Ей навстречу пришёл холодный порядок.

Наступило лагерное утро.

Сумрак барака разорвал вопль ночного днеального: «Подъём»!

И едва он смолк, как на тощих соломенных матрасах под задрипанными одеялами началось шевеление.

Длинный барак с трёхъярусными нарами начал лениво оживать. Захлопали двери. По щелястому облезлому полу застучали сапоги, зашлёпали подошвы резиновых чуней. Из открытых дверей потянуло сквозняком, и Глеб Лученков проснулся.

Кто-то кряхтел, разминая задубелое за ночь тело, кашлял, сморкался, кто-то бранчливо затевал перепалку с дневальным.

Появившиеся бригадиры рычали: «Чего, сволочи, «подъёма» не слышали?» и длинными жердями сбивали с верхних нар тех, кто пытался урвать лишнюю минутку сна.

Нары были устроены из круглых жердей и неструганных досок. На самом верхнем ярусе было теплее, но с потолка беспрестанно падали капли – испарения, скапливающиеся там от пота и дыхания.

Лученков несколько секунд лежал неподвижно, с закрытыми глазами, будто стараясь отсрочить пробуждение и возвращение в явь.

Но ранняя побудка, словно приبلудная собачонка, уже слизнула остатки сна. Глеб больно, до хруста потянул шею, дёрнулся и сел на своих нарах.

Потом надел пахнущие прогорклым жиром ватные брюки, широкую телогрейку без воротника.

Намотав на ноги портянки, он натянул кирзовые сапоги. Сапоги были старые, со стоптанными каблуками.

Сон уже отлетел, но пробуждение едва наступило. Лученков минуту посидел на нарах, возвращаясь из сна в обычную лагерную явь, и, запахнувшись в бушлат, побрёл к отхожему месту, дощатой уборной, расположенной за бараками.

Ночью по лагерю ходить было нельзя. По нужде ходили на парашу.

Глеб шёл с ещё зажмуренными глазами, по памяти. С остервенелостью расчёсывал под ватником искусанное клопами тело.

Клопы кусали даже ночью, бесконечно ползали по стенам барака, стойкам нар, падали откуда-то сверху.

Около *дощатых* выбеленных *известью уборных* толпилась очередь. В проёме двери был виден ржавый жёлоб, помост с дырами. Тускло блестели соски деревянного ручной мойки.

Над отхожим местом висела тьма, слегка разбавленная мутным светом горевшей на столбе лампочки, и несколько зэков мочились прямо на дощатые стены уборной.

Старик профессор, похожий на старую голодную собаку, протрусил мимо очереди, направляясь в барак.

Глеб помочился на угол.

Рядом с ним справлял нужду помощник бригадира Иван Печёнкин. От его кирзовых сапог тянуло запахом рыбьего жира.

Кожа на его лице всегда была багрового цвета, словно его окунули в борщ. А лоб, словно у греческого мыслителя высокий, изборождённый линиями мысли.

Держался он с показным достоинством и, громко испортив воздух, остался при том же многозначительном лице.

“Даже здесь начальнический глаз...” – подумал Лученков неприязненно.

Помощник бригадира не работал. Он, как представитель низшего звена лагерной администрации, только распределял работу в бригаде, ставил на неё людей, спрашивал норму и погонял, а вечером составлял сводку, получал на бригаду хлеб и отстаивал интересы бригады в конторе.

Это давало ему все основания гордиться своей значимостью.

Был Печёнкин из бывших сельских участковых милиционеров, попавший в лагерь по пьяному делу.

В каждом селе у него были родственники, кумовья, сваты и просто хорошие знакомые.

По приказу начальства поехал однажды на подводе кого-то арестовывать. Арестовал и повёз в отделение, но по дороге решили заехать в гости к куму и отметить это дело.

Очнулся Печёнкин только в милиции. Опытная лошадь сама нашла дорогу.

Арестованный приятель исчез, словно канул в воду. Вместе с ним исчез и служебный наган.

Ни приятеля, ни револьвер так и не нашли. Ване дали шесть лет и, как бывшему милиционеру, доверили в лагере должность помощника бригадира.

В лагере Печёнкин заблатовал. Выслуживался перед начальством.

После подъёма раздался сигнал сбора. Морщинистый однорукий дневальный, из бывших полицаев, колотил железякой по рябому обрубку рельса, подвешенному на обрывке ржавого троса у штабного барака. Грязная телогрейка на его спине была зашита в нескольких местах белой ниткой.

Вот и сейчас завопил истошным голосом:

– Чего встали, падлы?! А ну давай строиться! А то я вам сейчас покажу совецку власть!

Строились неторопливо.

Лёгкий холодный ветерок слегка шевелил оставшиеся листочки деревца, стоящего у крыльца штаба, и в окне чуть вздрагивало мутное стекло.

Пронзительно взвыла сирена, но тут же умолкла.

Прерывистый звон рельса слабо прошёл через стены барачков и скоро затих. Бывшему полицаяу надоело махать рукой и, бросив железяку, он достал кисет и стал мастырить газетную козью ножку.

Звон утих, за окном висела предутренняя хмарь.

Через полчаса тысяча зэков уже стояла на широком грязном дворе лагеря.

Воры, убийцы, насильники, бытовики и фраера, попавшие по недоразумению. То есть, за кражу колосков, за опоздание на работу, за контрреволюционную деятельность, за анекдоты.

Враги Советской власти настоящие и мнимые. Вчера бывшие работяги, интеллигенция, городская гопота. Сегодня – возчики, землекопы, живые скелеты, голодные русские мужики, а вокруг – Россия!

Из собачьего вольера вывели овчарок. Им приотпустили поводки, и они заученно, словно дисциплинированные солдаты, встали по своим местам – привычно, буднично, настороженно.

На плацу перед строем заключённых Тайшетлага стоял поседевший на конвойной службе капитан в длинной, по фигуре подогнанной шинели.

У него был вид заправского служаки офицера. Он был чисто выбрит, в начищенных сапогах, отражающих лучи неяркого осеннего солнца.

Утро стояло холодное, октябрьское. Стылые солнечные лучи заглядывали в мутные окна барачков.

Пар дыхания серым облаком поднимался над рядами заключённых, оседал на жухлой траве и самих зэках. словно собачий лай, рвал стылый воздух чахоточный кашель людей.

Лагерь окружён тремя заборами: проволочным, дощатым и из тонких брёвен с заострёнными верхушками, как в остроге.

За последним острожным забором стоят вышки с охранниками, а по углам – высокие пулемётные.

На вышках ёжились одетые в шинели часовые с винтовками.

Ломаные неровные шеренги зэков в основном были одеты в серые засаленные бушлаты. У них колючие быстрые глаза, озлобленные серые лица. Обросшие, небритые, худые, грязные.

Обуты в разбитые кирзовые сапоги и ботинки, рваные капоши, а то и резиновые чуни с намотанными на ноги тряпками.

Но попадались и жулики, аккуратно выбритые, в чёрных, чистых телогрейках. На ногах начищенные сапоги, с отвернутыми на одну четверть голенищами. Широкие брюки напущены на отвороты сапог. Татуировки на руках, на ногах, на всём теле.

Они вели себя как хозяева, их сторонились.

Лагерники переминались с ноги на ногу, стараясь согреться кутались в телогрейки и бушлаты. Короткие реплики, мат, ухмылки, мелькавшие на серых лицах, выражали ту меру тревоги, на которую ещё были способны их иззябшие души.

Лученков томился от предчувствия перемен и усилий осмыслить в себе прожитую жизнь. Зачем он живёт? Для чего? Он смотрел на серые бараки, крытые почерневшими от дождя и снега досками, на дымчато-серые лесистые сопки.

Уже третий год он в лагере, и конца не предвидится. Вот если бы спрятаться среди брёвен, которые шофера везут на станцию. А там в какой-нибудь железнодорожный состав и подалее отсюда. А как же без денег?

Украсть!.. Подломить какойнибудь магазинчик на станции и ходу!

Побег из лагеря стал для него навязчивой идеей, целью, достигнув которую начнётся новая жизнь. Только надо скорее, а то придёт ноябрь, и приморозит зима крепче смерти.

За бараками запретная зона. Налево располагался карцер, направо – санпропускник, сзади вахта. Отгороженный от лагеря колючей проволокой лазаретный барак. В нём четыре отделения: терапия, хирургия, туберкулезное и инфекционное. Чуть в стороне находится землянка – морг. Дверь морга распахнулась, и два санитары в грязных медицинских халатах, надетых прямо на телогрейки, вынесли деревянный щелястый ящик, сколоченный из неоструганных досок.

Ящик похож на сундук пирата Флинта. Но там не сокровища. Окоченевший труп с прицепленной к большому пальцу ступни фанерной бирочкой, которую потом прибьют к колышку и вошьют в могильную грядку на зэковском кладбище.

Ящик пронесли позади строя. Головы заключённых интуитивно поворачивались вслед. Каждый думал об одном и том же «Ну вот ещё один примерил деревянный бушлат».

У каждого из заключённых за спиной аресты и суды, никчёмная, разрушенная жизнь, голод и побои. Впереди долгие годы неволи, этапы, работа с кайлом и тачкой. Неудивительно, что каждый из них примерил этот ящик на себя.

Рядом с капитаном ещё два офицера и старшина. Лагерное начальство неуверенно топталось за их спинами.

У серого забора стояли автоматчики. Овчарки сидели у их ног, готовые поймать, повалить, придушить.

Лица конвоиров не столько равнодушны, сколько растеряны. Что-то случилось.

В лагере всегда чего-то ждали. То скорого прихода американцев. То амнистию.

Толпу волновали самые фантастические слухи: то об отмене уголовного кодекса, то болезни Сталина. Слухи наплывали волнами, как обморок, и тогда сладкая дрожь пробегала по изломанным неровным рядам заключённых.

– Легавый буду, щас амнистию объявят! – Тревожился мужик в чёрном пальто, укравший колхозную корову. – Надо поближе. А то ведь не дадут послушать, олени рогатые!

Был он малоросл, худ. Глаза водянистые, унылые, как у дохлого сома. Кожа на лице сморщенная, жёлтая.

– Вон нарядчик карточки несёт, – сосед Лученкова хлопнул мужика по плечу. – Чего-то он сегодня расстроенный! Видать, точно амнистия, а ему с тобой, Швыдченко, расставаться не хочется.

Мужик в ответ что-то забормотал, вертя по сторонам головой.

Капитан заложил за спину руки и, глядя на ряды зэков, громко крикнул:

– Граждане заключённые!

Из его рта шёл пар.

Стало очень тихо. Было слышно, как на хоздворе монотонно работал дизельный генератор.

Лученков увидел рыжее тельце крысы, бегущей вдоль стены штабного барака. Хвостатая тварь остановилась, нюхая воздух подрагивающим носом.

Она смотрела на стоявших людей равнодушно и без всякого беспокойства, всего лишь как на досадную помеху.

Лученков сделал попытку вспомнить, какой сегодня день, и не сразу, с усилием сообразил, что начало октября.

Счет дням недели он вёл исправно, привычно ощущая точный ход времени, а вот числа...

Какая разница, если впереди всё равно ещё почти десятилетний срок.

Кто-то обронил в тишине:

– Гадом буду, прокурор где-то умер!

Капитан переждал некоторое волнение в рядах заключённых.

– Долго агитировать я не буду. Некогда! Родина-мать в опасности!

При этом голос капитана сорвался и захрипел как труба.

Заключённые слушали его с каменной серьезностью, ничем не выдавая своих чувств. Многолетняя привычка нахождения в условиях несвободы рождали стойкое равнодушие и иммунитет ко всякого рода высоким словам и красивым призывам.

Агитировать и призывать заключённого к подвигу во имя Отчизны и большевистской партии – напрасный труд.

Все это знают. Всколыхнуть и заинтересовать массу заключённых можно лишь перспективой материальных благ или поблажек. В этом и состоит разница между удачной или неудачной речью.

– Фашисты топчут нашу землю! Убивают, жгут, насилуют ваших сестёр и матерей! Красной Армии нужны бойцы... Много бойцов.

Зэки загудели, ряды колыхнулись. Их тут же выровняли овчарками.

– Это как, гражданин начальник? Под охраной в бой идти! – раздался чей-то крик из середины строя.

– Нет, – отрезал капитан. – Все, кто захочет воевать против врага, будут немедленно амнистированы и направлены на фронт. Воевать будут в составе штрафных рот. В случае ранения, совершения героического поступка или по отбытии срока судимость с них снимается вместе с неотбытым сроком!

– А если убьют?

– Если убьют, то погибнешь героем, а не будешь медленно гнить всю оставшуюся жизнь.

По рядам заключённых рябью пробежал шум. Кто-то крикнул:

– А фигуру дадут? Или с кайлом в бой идти?

Зэки засмеялись.

– А ну прекратить разговоры! – Капитан поправил на боку планшетку.

– Кто меня услышал, кто хочет защищать свою Родину и добиться освобождения, выйти из строя!

Сначала несмело, затем всё увереннее зэки стали выходить из строя.

Помбригадира, шевеля что-то губами, постарался затеряться в середине строя.

Никифор Гулыга, парень лет тридцати, одетый в лагерную телогрейку, тщательно подогнанную по фигуре, и в модной вольной кепке, стоял, упрятав руки в карманы. Оскалился своей, точно прилипшей к лицу, бурой от загара улыбкой.

– Я, наверное, тоже пойду, повоюю! Надоело сидеть. Жиром заплывать стал. Простите меня, воры!

Следом двинулся Лученков.

Перед Гулыгой вильнул задом бывший комсорг алюминиевого завода в Запорожье, посаженный за троцкистскую деятельность.

Вор пнул его в копчик.

– Родина в услугах педерастов и врагов народа не нуждается! Ну-ка дай дорогу.

За ним двинулись ещё несколько эзков. Метался и мучился в раздумьях коровий вор Швыдченко.

Рослый багроволицый старшина скептически и насмешливо оглядел желающих повоевать.

– Ну, шо-ооо!.. Комсомольцы-добровольцы! Вольно! Всем на корточки!

У приземистого штабного барака пришлось ждать. Штаб под хорошей, железной крышей. На зарешёченных окнах ситцевые занавесочки. Дверь, обитая войлоком. Широкие шляпки гвоздей блестят.

Заключённые сидели на корточках, по четыре в ряд.

Лученков ждал своей очереди. Его била холодная дрожь, но дрожал он так, будто в ожидании суда. И он с дрожью той думал:

– Господи! Не дай подохнуть в лагере! Если и умереть, то на воле...

Будущих штрафников по одному запускали в канцелярию, опрашивали, сличая ответы с личными делами. Записывали татуировки, приметы. Браковали только явных инвалидов или тех, кому уже исполнилось 50 лет. Всех, кто прошёл комиссию, загоняли в транзитку, рядом за проволоку.

Подошла очередь Лученкова. Он *перекрестился* дрогнувшей рукой: «Пусть будет всё не так, как будет... Пусть будет всё, как я хочу! Хочу вырваться на волю! Хоть на день, хоть на час...»

Поднялся, стараясь не спешить, подошёл к приоткрытой двери штабного барака, у которой стоял сонный охранник с винтовкой на плече. Внутри оказался длинный серый коридор с дощатым полом. По обе стороны – двери с табличками.

За ближней дверью стрекотала машинка. Нужно было постучаться, войти, сорвать шапку и отпрапортовать.

Лученков приоткрыл дверь канцелярии и сразу же попал в перегороденный деревянным барьером кабинет.

Барьер ограждения вытерт локтями, за ним заляпанный чернилами стол, какие-то шкафы с картонными папками, кипы бумаг, формуляры заключённых.

На окне решётка. И ничего больше. Стены тоже голые, без лозунгов.

За столом сидел лейтенант в шевиотовой отглаженной гимнастерке. У него было красное, недовольное лицо, с какими-то тусклыми, безразличными глазами. Напротив расположилась машинистка из вольняшек и сержант с какой-то замусоленной тетрадью на коленях.

Лейтенант, молча, смотрел на вошедшего. Тот сдёрнул с головы шапку, доложил скороговоркой:

– Заключённый Лученков Энгельс Иванович, одна тысяча двадцать четвёртого года.... Статья... Срок – 10 лет... Начало срока... Конец срока....

Сержант полистал тетрадку. Медленно провёл толстым пальцем с траурной каёмкой под ногтем по неровной строке. Потом встал, достал с полки серую картонную папку. Раскрыл и положил перед лейтенантом. На первой странице была приклеена, какая-то мутная фотография, засиженная мухами.

– Так, Лученков. – Лейтенант сурово глянул на Глеба, потом на фото, сличая. – Разбой среди бела дня. Штопорила – десять лет... Пиши – три месяца штрафной.

Машинистка выбила на клавишах длинную дробь.

– Лученков... Чего встал? Следующий.

Глеб сделал шаг за дверь, где ожидал другой заключённый с добродушным, приветливым лицом и честными глазами, какие могли быть только у жулика. На левом верхнем зубе блестела коронка – фикса.

Конвоир с винтовкой стряхнул сон, пошевелив плечом, приказал:

– Живей, мерин!

Лицо зэка покраснело. Приветливость сменилась злой гримасой, ответил грубо:

– Мерин твой папа! А ты его жопа!

– Шо-ооо?! – заревел охранник цапая винтовку и хватая воздух широко распахнутым ртом. – Шо ты казав?!

Конвоир был родом с Житомира и страдал хохлацкой упёртостью.

На шум выскочил сержант. Спросил строго:

– Что у тебя, Мельничук?

– Та ось же, товарищ сержант, ображає на бойовому посту!

– Фамилия, статья?! – похолодел лицом и голосом сержант.

– Временно изолированный боец-доброволец Красной Армии Клепиков! Что же это такое происходит, товарищ сержант. Великий Сталин учит нас, что надо думать о живом человеке, а это падло мне ружьём грозит!

Сержант постоял, молча, осмысливая услышанное. Потом поглядел на бойца-добровольца.

Судя по нахальной морде, парень этот был большим жуликом и мастером партийной риторики.

«Может быть из бывших партийных?» – Подумал сержант.

«Да ну его!.. Связываться себе дороже» – и сказал об этом часовому:

– Ты не особо вольничай, Мельничук. Это уже не наш элемент, а без пяти минут боец Красной армии.

Караульный рукавом шинели вытер с лица пот.

– Винен, товарищ сержант!

– Социалистическая законность обязательна для всех и угрожать оружием военнослужащему Красной армии никак нельзя! Смотри мне!

Развернувшись сержант скрылся в кабинете.

Клепиков подмигнул Лученкову.

«Ну как я его сделал?»

Повернулся к охраннику.

– Чего торчишь как прыщ?.. Не слыхал, что товарищ сержант приказал? А ну спрячь плётку, пока товарищу надзорному прокурору не пожаловался!

– Який він тобі товариш, воша тюремна?!

– Сейчас узнаешь! – Довольный Клепиков шагнул за дверь.

Через минуту выскочил обратно с просветлённым лицом.

На нём была печать прежнего нахальства отпетого жулика.

Весело оскалился караульному:

– Смирно! Как стоишь перед бойцом Красной армии, рожа мусорская? Забыл о том, что товарищ Сталин сказал? Незамеченных у нас нет. Я уже договорился! Пойдёшь, в рот меня толкать, завтра улицу мести, а я вместо тебя вертухаем!

Пока караульный, осмысливая сказанное, хлопал глазами, Клёпа испарился.

На следующий день с самого утра объявили построение для всех освобождающихся

Начальственный тенорок распоряжался:

– Всем сдать казённое имущество. Одежда, простыни – не тащить... У кого вторые сапоги или ботинки – забрать! Ножи, финки, заточки – изъять! Все сидора проверить!

Прямо перед вахтой начался шмон.

Конвойные перебирали вещи, забирали то, что им нравилось. Будущие штрафники – кто матерился, кто жалобно упрасивал...

– Да мы же на фронт, имейте совесть...

– Шо-ооо?.. У нас здесь тоже свой фронт!

– Вы что творите, суки рваные!? Последнее забираете!

– Молчи, падло! Там тебя оденут.

– Ага! Оденут и обуят. Немец скоро всем деревянный бушлат приготовит.

Выкрики. Матерщина. Лай собак. Арестанты переговариваются вполголоса.

– Вот суки! Наверное, и с мёртвых исподнее снимать будут!

Один из конвоиров кивнул на Гулыгу, деловито сказал другому, с ефрейторскими лычками:

– Выведи этого. У него прохаря хромовые.

Ефрейтор глянул мельком, отвернулся.

– Оставь. Он из воров. Ты же не хочешь получить приبلуду в бочину?

Из штабного барака вышел майор Борисюк, по-хозяйски оглядел заключённых, смахнув с рукава шинели ворсинку, и поманил ладонью капитана. Сухо сказал:

– Списки готовы. Можете забирать людей.

Оба офицера расписались на подставленной капитаном планшетке: «Сдал», «Принял».

На прощанье Борисюк бросил, ничуть не озабочась тем, что его слышат передние ряды заключённых.

– Напрасная трата денег на кормёжку и перевозку, капитан. Я бы прямо здесь их – шлёпнул. Вывел бы дармоедов в тайгу и пострелял. Не вынимая папиросы изо рта!

Капитан козырнул, потом сказал безразличным голосом:

– Это у вас они дармоеды. А у нас – солдаты.

Майор в ответ с безразличным выражением лица небрежно махнул рукой, медленно пошёл обратно.

Капитан проводил грузную фигуру глазами, внезапно озлобясь крикнул:

– Старшина!

Тот подбежал, топоча сапогами, словно конь. Вытянулся.

– Я, товарищ капитан!

– Заканчивайте шмон. Получите сухари, чай, селёдку. Разбить на пятёрки. И ведите людей за ворота.

Махнул рукой:

– Командуйте!

Старшина гаркнул:

– Слушаюсь!

Закричал зычным, привычным к командам голосом:

– Становись! Равняйся! Смирно! Следуем на пересыльный пункт. Там помоеетесь, получите обмундировку. И в бой, громить Гитлера. Напра-а-а-во! Шагом марш!

Поодаль от вахты стояла небольшая группа воров. Сбившись в кучку, они молча наблюдали за происходящим. Где-то вдали слышались печальные переливы журавлиной стаи. Их прощальная песня на какое-то время уводила в сторону от тревоги.

Этап двинулся за вахту. Провожающие ещё немного постояли, покурили, обсуждая перспективы остаться в живых записавшихся в штрафники, а потом разошлись.

Капитан в своей длинной шинели, словно вырубленный из шершавого камня монумент, скрипя блестящими сапогами, твёрдо промаршировал через открытые ворота, и длинная изломанная тень побежала за ним следом.

* * *

Вышли за зону.

Несколько свободных от вышек солдат толклись у лагерной вахты. Несмотря на ранний час тут же маялись несколько безвозрастных и по военной поре плохо одетых женщин, приехавших, верно, на свиданку.

За воротами лагеря будущих штрафников окружили автоматчики в фуражках с красным околышем, по бокам колонны собаки. Натасканные псы утробно рычали, сбrehивая коротким густым лаем.

Начальник конвоя, молодой, подтянутый лейтенант, зачитал как молитву:

– Внимание, колонна! За неподчинение законным требованиям конвоя, попытку к побегу... конвой стреляет без предупреждения. Поняли, падлы, в-в-вашу мать?

Не услышав ответа, лейтенант крикнул, осердясь:

– Если хоть одна б... ворохнетя и попытается бежать, патронов не пожалею. Следуй – и не растягивайся. Шагом марш!

Уходящей колонне что-то кричали вдогонку зэка, сидящие на крышах бараков. Горбатые вышки и заборы становились всё дальше. Колонна раздавливала утреннюю тишину грохотом шагов.

Шли медленно, но без остановок.

Зэка, опьянённые свободой, глазели по сторонам, свистели, задирали ранних прохожих.

Собаки, возбуждённые запахом немытых тел, рычали на отстающих. Конвой матерился и обещал пристрелить любого, кто побежит.

По дороге попадался разный поселковый народец, На улицах встречались женщины в платках и телогрейках. На ногах, у многих мужские сапоги и грубые солдатские ботинки.

На обочине дороги кривоногий худой шофёр в рваной засаленной телогрейке отчаянно крутил заводную ручку заглохшей полуторки. Старухи торговали семечками и сушёной рыбой. Низкорослая хмурая продавщица запирала магазин на большой амбарный замок

Проходящая колонна ни у кого не вызвала удивления. К зэкам здесь привыкли. Часть посёлка служила в лагере, другая сидела.

Наконец, подошли к огромному сборному пункту, похожему на пересыльный лагерь.

Видны были два огромных деревянных двухэтажных барака и много-много брезентовых палаток. Сборный пункт обнесён сплошным деревянным забором, по верху – пять или шесть рядов колючки. Охрана в обычной армейской форме.

Колонна остановилась у вахты, ворота раскрылись. Автоматчики по команде офицера убрали оружие за спину, выстроились в стороне. Больше их не видели.

На крыльце бревенчатого здания стоял офицер с красной, замусоленной повязкой на рукаве.

В воздухе висел тюремный специфический запах карболки, залежалого обмундирования, гнилой картошки.

Офицер оглядел разномастно одетый строй, так, как опытный пастух оглядывает своё стадо. Сделал несколько шагов.

– Старшина!

Тотчас же подскочил молодцеватый служака.

Физиономия крепкая, словно выложенная из бурого кирпича.

– Я, товарищ майор!

– Людей – в баню. Переодеть, всё тряпьё сжечь! Поставить на довольствие. После бани всех на занятия.

Раскурил папиросу, обронил веско:

– Выполнять!

– Н-нн-на-пр-ря-о! – старшина, багровея от усилия, распахнул свою свежееобритую пасть. – Вот уж будет вам банька! По-парю вас, сукиных детей! Ш-ш-ш-шшшго-ом марш!

Строй новобранцев завели в санпропускник, потом в баню. Там было пусто и гулко. Вдоль стен тянулись низкие тяжёлые лавки, насест из досок.

Старшина чуть отдышался у порога и уже весело рвал глотку:

– Вшивники с себя сымайте, скидывайте! Ничего себе не оставлять. Вам уж ничего не будет нужно, а что нужно, то выдадут. В помывочный зал без моей команды не входить!

Штрафники раздевались молча. Толкаясь, сбрасывали прямо под ноги пропотевшее и провонявшее лагерем эковское шмотьё.

Уж голые, топтались прямо на нему, ожидая, когда старшина даст команду.

Гулыга невидящим, пустым взглядом скользнул по толпе голых людей, подошёл к дверке и молча распахнул её. Оттуда вырвался запах мыла и пара.

Следом за ним радостно регоча рванули и остальные. И только Швидченко испуганно бормотнул: «Вы чего? Не положено ж без приказа...»

Это, конечно же, была не русская баня с парилкой, а большая помывочная с кранами, из которых бил кипяток. Из-за пара не видно ничего дальше протянутой руки.

Груда серого цвета овальных тазиков с двумя ручками – шайки. Такие же серые бруски мыла. Смятые и скользкие ошмётки мочалок.

На всю помывку отводилось полчаса, кусочек серого хозяйственного мыла и по две шайки горячей воды.

Штрафники толпились вокруг кранов, наливая в тазы кипяток и весело матерясь. Худые, в шрамах и наколках, – в мыльной пене. Зрелище это было смешное, и сами они смеялись – друг над другом, по любому поводу. Кто-то поскользнулся на мыле, шмякнулся, и тут же начали гоготать.

Гулыга яростно тёр себя мочалкой.

– Ну! – тянул он блаженно. – Банька, таки-да-а!.. После водки и баб первое удовольствие.

Он был синий от татуировок. С одной стороны его широкой груди синел профиль Ленина. С другой — профиль Сталина. А на спине шрам от ножа.

Клёпа с сожалением смотрел на снятый с себя тёплый свитер.

Свитер был тёплый, домашней вязки. Месяц назад Клёпа выиграл его в карты.

Он был профессионалом игры в терц, штос и буру – трёх классических карточных игр, знаток правил катрана, строгое соблюдение которых обязательно в игре между ворами.

Под гимнастёркой свитер не помещался.

Из боковой комнаты вышел офицер лет двадцати в небрежно накинутой на плечи шипели. Был он близорук, носил очки. Несмотря на молодой возраст имел глубокие залысины, криво уходящие к середине макушки.

Залысины придавали его детскому лицу выражение взрослой озабоченности, печать огромной ответственности.

Все его друзья были на фронте. А он – здесь. Лейтенант был не годен к строевой, но считал, что как член партии не имеет права отсиживаться в тылу.

Уже вторую неделю он исполнял обязанности замполита роты.

Лейтенант строго глянул на Клёпу, поправил очки. Он разглядел только, что все зубы у солдата железные, а потом – так и не запомнив лица, увидел наколку на его груди: рогатые черти варятся в котле.

– Не время, товарищ боец, переживать по поводу вещей. Родина в опасности. Тем более, что вам сейчас выдадут обмундирование.

Голый Клёпа, синий с головы до ног, цыкнул зубом, сощурившись, осмотрел офицера.

– Этот гнидник мне дорог, гражданин начальник. Хочу дойти в нём до Берлина, а потом сдать в музей. И написать на табличке, что раньше он принадлежал уголовному элементу Михе Клёпе, а потом перековавшемуся бойцу победителю-орденоносцу, дошедшему до вражеского логова, Михаилу Ивановичу Клепикову.

Лейтенант потрогал пуговицу на воротнике своей гимнастёрки, хотя тот ему не жал и поправил очки.

– М-mmm! И все-таки... Я бы попросил...

Замполит снял и протёр очки. Надел их, поправляя за ушами, на переносице.

Подслеповато моргая смотрел на невысокого нагловатого бойца, с замашками уркагана.

Хотел было ещё что-то добавить, но поспешил отойти, поправляя редкие волосы на яйцеобразной голове.

Лейтенант почему-то робел перед этими взрослыми татуированными мужиками.

«Чёрт его знает, что у них на уме, у этих уголовников».

Лейтенант Высоковский считался одним из самых подкованных политработников среди офицеров сборного пункта, но он терялся перед людьми, обладающими большим житейским опытом.

Когда они уже выходили из помывочной, распаренные, смывшие с себя всю грязь, морщинистый жуликоватый старшина и двое его помощников притащили тюки с пахнущим хлоркой бельём, охапки портянок, связки ботинок. Складывали кучами, куда приказывал старшина.

Тот тыкал пальцем в высокие кучи на полу:

– Здеся портки и гимнастёрки, тама – шинели! Исподники в углу! Головные уборы и портянки в мешках! Потом подходим за обувкой. Говорим размер, получаем, примеряем, радостно улыбаемся и отваливаем!

Весело скалился, приговаривая:

– Налетай, служивые! Родина вас не забудет, а старшина оденет и обует. Родина – мать, а старшина – отец родной!

Всем раздали одинаковые пояса: брезентовые, с проволочной пряжкой. И к ним под сумки их серой парусины.

– Во-ooo!.. И хомут уже дали!– радостно кричал Клёпа, разглядывая карманы брезентового под сумка. – Теперь только запрячь осталось!

Обмундирование было разномастное, ношеное. На многих шинелях и гимнастёрках небрежно и торопливо заштопанные дырки.

Не было большой разницы, что надевать, потому что уже через несколько дней все эти ворохи выданной одежды будут вывалены в осенней грязи и размокшей траншейной глине.

Будут по-новой пробиты пулями и осколками. Испачканы кровью, грязью и испражнениями.

– Следующий! Как фамилия? Швйдченко?

Старшина торопливо кинул перед собой на стол ворох заштопанной одежды:

– Следующий!

Но коровий вор продолжал неторопливо копаться в приторно воняющей куче старых ботинок.

– Не спи, Швыдченко! Победу проспишь!

Тот оскалил редкие от цинги зубы:

– Мой батя говорил, что обувку, как жену, надо выбирать с умом. Тщательно. Жену – по душе, сапоги – по ноге. Абы, какие взял – ноги потерял!.. Так ведь, товарищ старшина?

Старшина загоготал. Лицо у него красное, наглое. Сразу видно, что ворюга из ворюг.

Подошёл Гулыга. Бросил на стол гимнастёрку с дырой на груди.

– Я бы на месте товарища Сталина после войны вас всех расстрелял поголовно – от замкомандующего по тылу до последнего повара... Заменя лепень! Ну!.. Я дважды не повторяю.

Старшина уважительно оглядел его голый татуированный торс.

Умерил своё веселье, и небритое лицо его стало напряжённо-несчастливым.

– Ну-ну, вижу, люди вы бывалые. Не пропадёте ни за грош!

Потом молчаливо порылся в своём мешке, вытащил из него почти новую гимнастёрку. Бросил её на стол перед Гулыгой.

– Носите, товарищ боец, на здоровье. Помните мою доброту!

Вытер рукавом гимнастёрки пот со лба, сказал устало и печально:

– Вы же, ребятки, только того... в ящик сразу не спешите...

Весь оставшийся день прошёл в суете. Десять раз на дню строились. Слушали политинформацию, занимались строевой.

Бух-бух-бух!– печатали шаг каблуки.

– Выше ножку! Рота-ааа! Запеееевай!

Несколько минут стояла тишина, нарушаемая лишь буханьем двух сотен ног. Потом чей-то отчаянный голос рванул:

Я вспоминаю старину,

Как первый раз попал в тюрьму, –

Кошмары, б..., кошмары, б..., кошмары!

Как под Ростовом–на–Дону

Я в первый раз попал в тюрьму,

На нары, б..., на нары, б..., на нары!

Тут же двести лужёных глоток подхватили:

*Настала лучшая пора,
Мы закричали все «Ура!»
Кошмары, б..., кошмары, б..., кошмары!
Один вагон набит битком,
А я, как курва, с кипятком –
По шпалам, б..., по шпалам, б..., по шпалам!*

Лейтенанту, проводившему строевую подготовку, песня понравилась. Он шёл сзади, покуривая и улыбаясь.

Из-под ботинок летели грязные брызги. Вечером усталые и замордованные штрафники разбирали и собирали винтовку.

Инструктор с двумя красными лычками на погонах рычал:

– Что у вас в руках, товарищ боец?

– В-винтовка!

– Винтовка?.. А то я подумал, что это чьи-то муди!

Общий смех.

Поняв свою оплошность, боец виновато потупил голову. Младший сержант с ненавистью глядел на придавленную тяжестью вещмешка фигуру, мокрую, испачканную осенней грязью шинель. Весь неказистый жалкий вид штрафника выражал вину и покорность.

Грозный взгляд в сторону потешающегося строя.

– Отставить смех, рогомёты! Швыдченко, какая винтовка?

– М-мм... – обречённо тянул красный и вспотевший Швыдченко, глядя на отполированный руками красноармейцев приклад винтовки. Младший сержант грозно таращит глаза. Швыдченко понимает, что надо ответить, но что – он придумать не мог, и тужился, словно на лагерном толчке.

– Железная, – шёпотом подсказывает Клёпа.

– Железная, – обрадованно повторяет Швыдченко.

– Кто железная? – Ошалевает младший сержант.

– Винтовка железная, – чеканит воспрявший духом боец.

Инструктор выматерился:

– Сам ты дубина железная. А в руках у тебя русская трёхлинейная винтовка Мосина образца 1891 года. Вес – четыре и две десятых килограмма. Обойма на пять патронов. Стрельба производится с примкнутым штыком.

По лицу Швыдченко от напряжения мысли стекал пот. Он послушно кивал головой.

– Понял? Ну ничего. Если я научить не сумею, немец живо научит. Встать в строй!

На котловое довольствие должны были поставить только на следующее утро. Весь день ели сухари и селёдку.

Наконец вечерняя поверка.

– Шайфутдинов.

– Я!

– Герасименко.

– Я!

– Клепиков.

– Здесь.

– Не здесь, а, я, надо отвечать.

– Ну, я.

– Один наряд вне очереди.

Здоровенный сержант, исполняющий обязанности старшины роты, что-то помечает карандашом у себя в тетради.

– Завтра дневальный.

– Б...! Я что в карты проиграл?

– Два наряда!

– Е–ееесть!

– Шелякин.

– Я!

– Лученков.

– Я!

Через десять минут все забылись тяжёлым сном на трехъярусных деревянных нарах.

Едва остриженные под ноль головы коснулись тощих подушек, как раздался крик дневального:

– Подъём! Строиться на зарядку

– Бегом! Бегом, бисовы дети! – стоя у двери, кричал старшина.

– Черт те что удумали!– возмущённо шипел Клёпа.– На войне зарядка! А может, я завтра погибну!?

– На войне, не на войне, а в армии всё по уставу! – невозмутимо отвечал старшина.

И началась армейская жизнь. Утром, ещё затемно – зарядка, туалет, приборка.

В солдатской столовой в окошки, называемые амбразурами, гладкие повара швыряли бачки с синюшной перловой кашей на завтрак. Перловку называли кирзой.

Солдаты давились недоварившейся кирзой. Она вязла в зубах, застревала в горле.

Слышался голодный скрежет ложек по дну мисок, выворачивающий душу звяк железной посуды, стук кружек о столы и крики сержантов: «Быстренько! Быстренько!» «Поторапливаемся!» «Не спим за столами!»

Начинался недовольный ропот, штрафники галдели, опрокидывали на стол миски с кашей. Чай выливался на пол, лужи растаптывали ботинками.

Клёпа выпивал кружку мутной, пахнущей веником жижи, называемой чаем.

– А какавы защитнику Родины?– весело орал он на всю столовую, скалясь железными зубами.

«3-з-заканчивай приём пищи! Выходи строиться!» – кричал старшина. Штрафники мрачнели: «Жрать хотим! Где наша пайка? Тушёнку давай!»

Воздух наполнялся страхом и злостью, один неверный шаг мог привести к драке, к большой крови. Чуть не плача, старшина уговаривал: «Братцы, не доводите до греха! За неподчинение в военное время всем трибунал! А вам завтра на фронт. Там всего вдоволь будет, и водки, и тушёнки...»

Матерясь, штрафники выбегали из столовой.

Стояли последние погожие деньки октября. Земля была устелена сухими опавшими листьями. Вдалеке синела даль, на деревьях висела паутина, хоть и слабенько, но еще пригревало солнце.

Сержанты выстраивали роту. Криком и угрозами наводили дисциплину. И несколько часов в воздухе слышались команды:

– На пле-чу!

– К но-ги!

Затем маршировали, преодолевали полосу препятствий, бросали гранаты, лазали через стенку, а перед обедом кололи штыком чучело.

На обед жиденький картофельный суп, пшённая каша и чуть сладкая бурда вместо чая. Построение, опять строевая, хозяйственные работы, опять построение, снова перловка на ужин. И как манна небесная, как избавление от дневных мук – вечерняя поверка.

На следующий день то же самое, только вместо строевой пришёл замполит пересыльного пункта младший лейтенант Рутштейн.

Держался свысока. Полгода назад окончил военное училище. Ещё не воевал, пороха не нюхал. Но должность занимал капитанскую.

В обязанности Рутштейна входило проведение политинформации.

– Товарищ Сталин точно определил предмет и задачи при освещении основ ленинизма, товарищи. Перейдя к определе-

нию сущности ленинизма, товарищ Сталин, дал сжатое и глубокое научное, известное теперь всему миру определение: «Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности».

Это – поистине гениальное определение, которое характеризует ленинизм в историческом разрезе, указывает также на органическую связь ленинизма с марксизмом.

Это – главный, ключевой, основополагающий и коренной вопрос нашей с вами сегодняшней лекции, или, если быть точным, политинформации...

Замполит монотонно бубнит, перебирая какие-то мятые бумажки. Сам он длинный, тощий и унылый.

Бойцы устали. Слова об основах ленинизма и победоносном наступлении Красной Армии падали в пустоту. Штрафники кивали головами и дремали, прикрыв глаза.

* * *

Через пару недель наступил день отправки. Каждому выдали сапёрную лопатку. Каску. Противогаз. Выдали котелки, а ложки почему-то – нет.

Но у бывших эзков к ложке отношение особенное. У каждого она или за голенищем, или в кармане.

Маршевую роту из штрафников привели на станцию. В тупике стоял эшелон, собранный из товарных теплушек. Погрузились в вагоны-телятники. С прорезями в полу для отхожего места.

У стен расположены двухъярусные нары, сколоченные из толстого листвяка. Посредине стол, привинченный к грязному, заплёванному полу массивными ржавыми болтами.

В центре теплушки калилась железная бочка с выведенной в узенькое оконце под самым потолком трубой. На печке парил тяжёлый чайник.

Рядом большой железный бак с питьевой водой. К нему цепью привязана металлическая кружка. В углу бак с парашей.

Пахло углём, портянками, табаком, ещё чем-то неуловимо солдатским – мужским потом, сапожной ваксой. Это был запах войны, тревожный и горький.

Потом подогнали шустрый паровозик. Сцепщик прицепил вагоны к эшелону.

На площадках за вагонами со штрафниками укрывались от холодного ветра охранники с винтовками. Двери этих вагонов задраены наглухо, железные щеколды перевязаны проволокой.

Старые, во многих местах прошитые пулями и осколками вагоны натруженно скрипели, гремели, лязгали разболтанными буферами и монотонно стучали колёсами на стыках рельсов. Вместе с вагоном плавно раскачивались двухъярусные нары и железная печь-временка.

В полутёмных теплушках везли безоружных штрафников.

В распоясанных гимнастерках, без ушанок, многие в одних носках и портянках, они лежали и сидели на дощатых нарах, подбрасывали в печку дрова, грудились у закрытой двери, глядя в щели на проплывавшие мимо столбы, деревья, городские дома и деревенские избы.

Серые поля бежали окрест, исчезали, переваливаясь через бугры, и не было им ни конца ни края. Кое-где кущами толпились деревья с уже облетевшей листвой. Иногда проплывали тесно прижатые друг к другу дома, где кирпичные, под железной кровлей, но чаще крытые потемневшей от времени соломой.

Кто-то из пожилых солдат, отходя от двери, вздохнул: «Эх, велика Расея, только жрать в ней нечего».

Наверху у крохотного окошечка играли в карты. Оттуда-то и дело раздавались взрывы хохота и дикого рёва.

Кто-то грыз сухари, кто-то вспоминал баб. Изредка сводили старые счёты.

Через окошечки теплушек бледнело осеннее небо, в котором к югу тянули редкие журавлиные клинья, мелькали деревья, потерявшие листву, грязные поля, с которых убрали хлеб, выкопали картошку, свёклу, морковь.

Потом все краски стёрлись, осталась только серая. Серые крыши домов, мелькающие лица, печные трубы, исчезающие за дождевыми полосами. Серые лужи вдоль пути.

Неожиданно на больших и малых безвестных станциях поезд тихо, надолго вставал.

Доносился запах пищи, жилья. Все станции пахли одинаково – дымком печных труб, углём, осенним дождём.

Мужчин на станциях не было видно. По замазученному и заплёванному перрону бродили низкорослые и закутанные в платки женщины с ведрами, наполненными едой. А за ними бегали их дети, выпрашивая у высывающихся в оконца солдат курево, солдатскую звёздочку или винтовочную гильзу.

Торговки, тяжело отдуваясь, лезли под вагонами, и вдоль эшелона шуршали их торопливые шаги. Были слышны бабьи пронзительные выкрики: «Картошка! Картошка! Горячая картошечка! Пирожки! Кому пирожки? Табачок, табачок!»

Торопливо передавали снедь в открытые проёмы вагонных дверей.

Штрафные вагоны всегда оставались закрытыми.

Штрафники, словно голодные птенцы из гнезда, высовывали стриженные головы из узких окошек под крышей вагонов. Бросали на землю деньги и шмотки, затачивали в вагон на верёвке вонючий самогон и чай.

На каком-то запущенном, грязном полустанке какая-то женщина в платке, подвязанном под подбородком, увидев, как штрафники выглядывают из зарешечённого окошка, всхлипнула:

– Господи, что за жизнь! На службу и то под конвоем!

В углу вагона, рядом с Гулыгой собрались воры – Клёпа, Мотя, Монах и похожий на злого бурятского Будду – Абармид Хурхэнов.

Сидел он за убийство. Колючий взгляд из-под мохнатых бровей придавал широкоскулому лицу отталкивающее выражение. Был он угрюм, неразговорчив. Никогда не знаешь, о чём он думает.

Гоняли по кругу закопчённую кружку с чёрным, как дёготь, чифиром. На тёмно-коричневой, почти чёрной поверхности густого чая вместе с пенкой плавали редкие чаинки. Кружка переходила из рук в руки.

Сидели с серьёзными лицами, тесным кружком. Роняли тяжёлые, как судьба, слова.

– Ты чего вышел?

– Куда деваться было? Впереди зима. А ты?

– Шнырь штабной трёкал. Этап на Колыму готовят. Тех, кто в отказ пошёл, туда погонят. А Колыма это бирка на ногу и гарантированная яма.

– Может, и так. Усатому золотишко сейчас понадобится!

– А кому оно без надобности?

– Зимой там смерть! Мне мужики рассказывали, у них в бараке один уже доходил и придумал, как с колымской командировки соскочить. Ночью зимой в уборную пошёл, обоссал голые ноги и полночи на мёрзлом толчке просидел. Думал сактируют и на материк отправят, а ему ступни отняли и новый срок. Так и загнулся. Там мало кто выживает.

– А тебя куда везут? Не на смерть?

– Может быть, на смерть! А может, и нет. Это как карта ляжет...

– Слышал... в штрафной – первое ранение, и срок тю-тю! Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах.

Никому из зэка, к какой бы он масти ни принадлежал, ехать на Колыму не хотелось. Там нужно было вкалывать, и кто ты есть: мужик или блатной никого не волновало. На Колыме долго не церемонились, не можешь работать или не хочешь, быстро отправляли на тот свет, чтоб не ел чужой хлеб, который нужен другим.

И каждый из этих горемык, ещё несколько дней назад согнанный с нар матом бригадира, ещё вчера хлебавший жидкую баланду в провонявшей капустой столовой и мечтавший о пайке хлеба – каждый с облегчением думал о том, что, может быть, его жизнь оборвётся завтра, а не растянется на годы, как обещали в приговоре. Но зато он умрёт свободным, а не сыграет в ящик, как говорили в лагере.

Скорее всего, здесь был очень большой смысл, а может быть, даже и мудрость. Наверное, это и была главная и единственная правда их жизнью.

В теплушке воняло сгоревшим жиром. Несколько штрафников сидели вокруг печки, на которой стоял котелок. В нём жарились куски жёлтого свиного сала вместе с листьями солёной капусты, оставшимися от обеда. На верхних нарах Паша Одессит негромко и хрипловато пел под нестройный гитарный перебор:

*Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя привозил.
И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил...*

Эшелон грохотал, но вместе с тем убаюкивал и клонил в сон.

Лученков дремал на нарах, подложив под голову свой небольшой сидорок, поджав ноги и засунув руки в рукава шинели. Тяжелое, с неутихающим стуком железнодорожных колёс забытьё, придавило его к жёстким нарам. Он слышал гул как наяву, не в силах даже пошевелиться. С верхних нар доносились голоса Клёпы и Швыдченко.

– Никак не могу взять в толк, Швыдченко, как же вас выпустили?

– А отчего же нас под замком держать? Мы хрестьяне, от земли всегда кормились. Смирные, не душегубы как некоторые!

– Ну как же, Швыдченко! Девочек в колхозе портили, догадываюсь я. Опять же с колхозу воровали. Ведь воровали?

– А кто с его не воровал? Колхоз, он за тем и есть, чтобы все токо и воровали.

– Ох и ушлый же вы, Швыдченко! Настоящий враг народа. На всё у вас, как у Троцкого, есть готовые ответы.

– У нас вся родня башковитая. В старое время крепким хозяйством жили, хлебушек не переводился!

– Не желаете ли свою башковитость в картах проявить? Предлагаю терц, игру для таких серьёзных людей, как вы!

Вдруг Лученков сквозь дрёму, шестым чувством зверя, почувствовал, как в воздухе повисла угроза.

Озаботясь, он затревожился, и эта тревога вытолкнула его из уютной ямы сна к повседневной, уже не тюремной, но и не вольной яви.

Поёжившись, Лученков встал, достал из вещмешка алюминиевую кружку. Неистовое пламя в буржуйке мешало примостить её так, чтобы не опрокинулась. Вода сразу же забурлила пузырьками. Засыпал пригоршню чая и, подождав пока он вздуется коричневым горбом, снял с печки, прихватив полой бушлата. Чтобы скоротать время, пока запаривается чифирок, прислушивался к тому, что происходит в теплушке.

Сидя на нарах в противоположном углу один из штрафников, сохраняя загадочное выражение на лице, рассказывал о своих похождениях на воле.

Слушая его, бойцы забывали о том, что они штрафники и совсем скоро их погонят на немецкие пулемёты. Жизнь этих людей, в основном, была страшна, убога, унижительна, состояла сплошь из воспоминаний об этапах, лагерях и скоротечных днях на воле, где они успевали лишь выпить да получить новый срок.

Вспомнить что-то замечательное из жизни большинство из них не могло, фантазировать и придумывать не умели, поэтому охотно слушали чужие рассказы о взятых кассах, кутежах в ресторанах, сиястых марухах и другой роскошной жизни.

На нары рядом с рассказчиком мягко опустился молодой ворёнок из окружения Гулыги.

– Муха, тебя ждут в том углу, – сказал блатарь. – Подойди!

Тот, кого называли Муха, молодой, нагловатый с грязной шеей, зыркнул на него. Потом повернул голову в угол, где в

окружении воров сидел Гулыга. Не торопясь и словно умирая от скуки, сунул в рот папиросу. Небрежно и расслабленно направился в их сторону.

– Ну?.. О чем толковище, Гулыга?

Он был покрыт наколками с головы до ног и всячески гордился этим, скинув гимнастёрку и закатав до локтей рукава нагельной рубахи.

– Не нукай, мерин, – психанул худющий штрафник с острой головой, сидевший ближе всех к нему. – Ты как базаришь с людьми?

Муха увидел его глаза – готовые пролить кровь, застывшие.

У него дёрнулся кадык, и он медленно переступил с ноги на ногу.

Расслабленность мгновенно ушла из его позы.

– Спокойно, Мотя! – Сказал внимательно наблюдающий за Мухой Гулыга. – Не надо нервов.

Побледневшему Мухе, совсем по-дружески:

– За тобой должок, дорогой. Готов уплатить?

– С чего ради?! – оскалился Муха, выплюнув окурок. – По всем счетам уплачено.

– А Лысый?.. Он при трёх ворах перевёл на Клёпу твой долг.

– У меня сейчас нет, – потухшим голосом сказал Муха, стараясь не смотреть по сторонам.

– Хватит! – Монах поднялся. – Его надо заделать, чтобы другим было неповадно двигать фуфло. В назидание другим.

«Двинуть фуфло», означало не рассчитаться за карточный долг. По законам блатного мира – преступление, караемое смертью.

– Пусть снимает штаны! – тяжело обронил мрачный человек, похожий на Будду.

Повисла тишина. Тяжёлая, как камень

– Кто ещё скажет?

– Резать! – тяжело опустил на стол ладонь мрачный Монах с профилями Ленина-Сталина на впалой груди.

На верхних нарах прекратились игра и разговоры.

Муха понял – сейчас его зарежут. Или опустят. В принципе разницы никакой.

Приговор уже вынесен. Долг правежом красен.

Он повёл глазами... тот, кто должен нанести ему первый удар, стоял сзади. Он слышал за спиной частое дыхание человека, который ждал команды...

Муха сунул руку в карман. Воры подобрались.

– Осторожней, граждане! У него под лепнем запрятанный наган! – Дурашливо запел Клёпа. Он уже отвлекся от игры и, явно забавляясь испугом Мухи, гонял во рту дымящуюся папироску.

Муха дрожащей рукой вытянул из кармана серую тряпицу и смахнул со лба капельки жёлтого пота. Пытаясь отсрочить расплату, запричитал:

– Воры, я рассчитаюсь. Вор вору должен верить...

Кто-то обронил тяжело и веско, словно забил гвоздь в крышку гроба:

– Молчи, погань фуфлыжная. Ты человеком никогда не был, рогомёт!

– Ша! – Крикнул Гулыга враждебно чужим голосом. – Убили базар!

Все замолчали.

Гулыга поднял руку. Обвёл присутствующих глазами. Все расслышали его хриловатый голос:

– Воры, а нужно нам это? Ну отпетушим мы его сейчас, а завтра с ним в бой идти? Или пулю в спину ждатель? Стрельнёшь ведь в спину, Муха?

Воры изобразили на лицах сумрачную задумчивость. Сидящие на верхних нарах благоговейно молчали.

Муха ничего не ответил. Гулыга поёрзал задом, устраиваясь поудобней.

– Так вот! Пусть уж лучше мужиком живёт, сколько получится!

Глубокая морщина пролегла у него посередине лба.

– Ползи, Муха, под шконку. С глаз подальше. Живи пока. Играть больше не садись. Увижу за игрой, отрублю пальцы!

Муха благодарно прижимал к груди вспотевшие ладони:

– Покорно благодарю, Никифор Петрович.

Он будто заново родился на свет.

Гулыга, уже забывая про этот разговор, повернулся к Лученкову, закурил.

– Глеб, выпался? – спросил его своим обычным, но иногда так резко меняющимся голосом. – Вижу, у тебя самовар поспел? Тащи сюда!

Воры успокоившись пили чифир с селедкой, а Муха, закулив, завалился в дальний угол нар и думал о том, как ему повезло, что его сегодня не зарезали.

Глеб Лученков вечером пытал Гулыгу.

– Никифор Петрович, а ты сам ножом человека резал?

Тот покосился на Лученкова, о чём-то поразмышлял про себя, ответил с внезапным раздражением:

– Резал. И ножом, и пилой, и ложкой заточенной. Надо будет, и зубами загрызу!

– А как оно, людей убивать?

Гулыга снова отвлекался от своих думок, почёсывал волосатую, иссинёную татуировками грудь. Удивлялся:

– Вот пассажир пошёл! За разбой сидит и спрашивает, как это людей резать?

Лученков не унимался. Жгло любопытство:

– И не жаль убивать было?

– Чего жалеть! Человек, как свинья. Плодовит. Одного убьёшь – народятся сто.

– Что?.. И ночью к тебе не приходят?

– Не-е! Ни разу не видел, чтобы мертвяки оживали!.. Да ну тебя! Иди лучше спать, пока есть возможность.

Гулыга лег на спину и с головой укрылся шинелью.

Страшная философия приятеля потрясла Лученкова своей простой обыденностью. Страшная житейская явь обступила его, как неотвратимый кошмар. Он долго молча сидел в углу вагона, осмысливая и переживая услышанное.

Гулыга спал, вроде как и не придав значения своим словам.

Эшелоны со штрафниками безостановочно шли к фронту. Каждая комендатура норовила отправить их как можно раньше. Штрафники, когда они вместе, – страшный, лихой народ. У них нет оружия, но уже и нечего терять. Мало кто рассчитывает вернуться обратно, и потому живут одним днём.

Эшелон шёл несколько суток. Летел вперёд, на станциях управлялся водой и углём, менял паровозы. И вновь мелькали русские города, сёла, полустанки.

В эшелоне более пятидесяти теплушек с людьми. Сколько таких эшелонов с каждой станции уходили в то время на фронт! Возвращались обратно уже с покалеченными людьми, безрукими, безногими. Сука – война!

* * *

...Вагон раскачивался, подпрыгивал. Иногда состав разогнался, но чаще катился медленно, рывками, то ускоряясь, то притормаживая, то останавливаясь совсем. Во время одной из таких остановок снаружи, сначала издали, а потом всё ближе и ближе, слышались голоса.

Большинство штрафников не спали, они подкидывали в буржуйку уголь, сушили у печи портянки, курили, дремали.

Голоса приближались, уже можно было различить слова, и вдруг в стенку чем-то ударили, как понял Лученков, прикладом винтовки.

– Чего стучишь? – Раздался в темноте хриплый, простуженный голос с вагонной площадки. – Не видишь, воинский эшелон! А ну отойди. Буду стрелять! – Клацнул затвор винтовки.

– Начальник заградпатруля, лейтенант Сенин. Прифронтонная зона. – пробасил в ответ уверенный голос.

– Начальника эшелона ко мне! – голос лейтенанта слегка хрипловатый и густо пропитанный махорочным духом.

Раздался свисток. Топот ног.

Поздно ночью, когда вагон затих, лежавший рядом с Гулыгой на нарах Клёпа прошептал ему в самое ухо:

– Петрович, давай вырежем дыру в полу или стене и – айда! До утра не хватятся, а там...

Предложение вполне реальное. У Клёпы дикие горящие глаза: Гулыга зевнул.

– Спи, Клёпа. Не прокатит этот вариант. Слышал?.. Мы уже в прифронтонной полосе. Поднимут солдат, оцепят и как диверсантов шлёпнут при оказании сопротивления. Я ещё чуток пожить хочу. Давай немного повоюем, а там видно будет. Может, нарисуетя шанс понадежнее.

* * *

Всю ночь шёл мелкий, с туманом дождь. Заложённое тяжёлыми серыми тучами небо казалось низким и холодным.

В воздухе пахло лесной сыростью, влагой, сосновой хвоей.

Прибывшие ночью с маршевой ротой бойцы, ёжась и зевая, выползали из своих землянок, становились в строй.

Шинели сразу же напитались влагой и повисли мокрыми попонами. Сукно уже не впитывало воду, а пропускало её к телу. Мокрая одежда прилипала к коже.

Капли дождя, словно душевые струйки, тоненькими бороздками стекали по усталым, испуганным лицам. Солдаты выглядели странно. На них были пилютки без звёздочек, телогрейки и необмятые шинели без погон. На ногах вместо сапог ботинки без обмоток. На спинах горбились тощие вещмешки.

Уже под самое утро их прямо с марша привели в какой-то лес. Накормили холодной кашей, приказали размещаться в землянках.

Пригнувшись в тесном дверном проёме, Лученков протиснулся в сырую полутьму земляного жилища, где на земле вместо пола лежали мохнатые сосновые лапы. Негромкий властный голос приказал располагаться на нарах из сосновых неошкуренных бревёшек, слегка стесанных с той стороны, на которую укладывались люди.

Кончался холодный слякотный день осени 1943-го года.

Железная печка буржуйка прогорела, в землянке стремительно холодало. В темноте казалось, что где-то рядом гудит чёрная дыра, откуда вырывается зло.

Никто не подавал голоса.

Каждый из штрафников думал о своём и находился под тяжестью ожиданий плохого и даже очень плохого.

Лученков неожиданно заснул, потом пришёл в себя, слыша, как из притемненной глубины, там, где лениво догорали дрова в ржавой буржуйке без дверцы, доносились слова молитвы: «Боже милостив, Боже правый, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, от всех видимых и невидимых врагов».

Несколько часов до рассвета штрафники провели в сырой землянке под шум дождя и грохот недалёкой канонады.

Утром бойцы разглядели, что находятся в лесу.

Хлипкий, зудевший дождь не переставал с самой ночи. Их построили.

Жалкий, вымокший до нитки строй, состоящий из сброда и человеческой нечисти, тянулся в неуклюжем порыве походить на армейский строй.

Где-то совсем недалеко ревели танковые моторы. Потом они стихли, и стали слышны далёкие глухие удары.

На земле, в непролазной грязи, следы от танковых гусениц.

Возле землянок находился стол, грубо сколоченный из свежих досок.

Перед строем промокших бойцов стоял невысокий, слегка кривоногий офицер.

Его плечи и голову прикрывала плащ-накидка – прямоугольник из тонкого брезента защитного цвета.

В стороне стояли несколько командиров, тоже в накинутых на плечи плащах.

Потянуло дымком полевой кухни. Голодные штрафники, в ожидании горячего варева, хмурились, переступая с ноги на ногу в размокших, тяжёлых ботинках.

– А это что за хрен с бугра по нашу душу? – толкнул сгорбившегося Лученкова стоящий рядом долговязый штрафник в поношенной короткой шинели и стоптанных ботинках.

Словно услышав вопрос, офицер вдруг вскипел, закричал на них, наливаясь нехорошей мутной злобой:

– Как стоите в строю мать вашу? Смирно!

Штрафники покорно стояли в сырых шинелях, будто по грудь в воде.

Офицер прокричал:

– Я оперуполномоченный контрразведки «Смерш» армии, старший лейтенант Мотовилов. Согласно Директиве наркома внутренних дел Советского Союза товарища Берии от 18 июля 1941 года уполномочен вести беспощадную борьбу со шпионами, предателями, диверсантами, дезертирами и всякого рода паникёрами и дезорганизаторами.

Моё чекистское чутьё и совесть коммуниста подсказывают, что я должен рассматривать каждого из вас только через прицел.

Потом, скосив глаза в сторону соседа Лученкова, переступающего с ноги на ногу, резко сменил тему и, сжав квадратные, как у бульдога челюсти, резко бросил:

– Кто такой? Три шага вперёд!

Боец вышел из строя.

– Красноармеец Сизов!

У Сизова совсем не бравый вид. Холод, сырость, промозглая туманная влажность и грязь превратили его в какое-то пугало.

Он худ, но шинель нелепо выпирает на животе. Пилотка, нахлобученная на голову, не имела ни малейшего сходства с форменным головным убором.

– Красноармеец?.. – недоверчиво переспросил офицер.

Сизов промолчал. Въедливость офицера и его тон не предвещали ничего хорошего.

Офицер повернулся к роте. При этом посаженная на короткую шею голова повернулась по-волчьи со всем туловищем, и это вызвало общую настороженность.

Его слова, обращённые к строю, падали, словно тяжёлые кирпичи:

– Запомните все. Вы не красноармейцы. Вы все говно! Самая обыкновенная штрафная мразь. Трусы и предатели Родины! Красноармейцем станет тот, кого завтра убьют. Или ранят. Это как кому карта ляжет. Но до тех пор, пока не смоете свой

позор собственной кровью, вы все штрафники. Бойцы переменного состава. Золотая рота... Всем ясно?

В строю раздался невнятный шум.

Офицер повернулся к Сизову.

– Пошёл на место!

Двинулся вдоль строя.

Он выглядел так, словно сошёл с передовицы газеты «Правда». Невысокий, крепкий, с бульдожьей челюстью и волчьей шеей.

А кругом была грязь. Жирный чернозём, разъезженный танковыми гусеницами и растоптанный солдатскими сапогами. Ошметки грязи налипали на солдатские шинели, цеплялись на ноги.

– Сейчас вы получите оружие. Скоро пойдёте в атаку. Нет, не пойдёте... Побежите. Предупреждаю сразу и один раз... Кто струсит и ляжет, пристрелю самолично. Это касается всех...

Голос оперуполномоченного СМЕРШ излучал даже не решительность. От него веяло беспощадностью.

Штрафники заволновались.

Мотовилов поёжился. Загремел брезентом плащ-палатки.

– Старшина командуйте!

Рябоватый усатый старшина, похожий на молодого Будённого, свирепо гаркнул:

– Нале-вооо! Шаг-ооом арррш!

Тяжелая грязь липла к ботинкам. Где-то ревели танковые моторы. Вдалеке были слышны глухие звуки ударов.

На дороге показалась облепленная глиной армейская полуторка. В её кузове тряслись двое бойцов.

Машина шла, проседая на ухабах, хлопая залатанными крыльями. Завывая мотором и скрипя рессорами, подкатила к крайнему блиндажу.

Водитель, распахнув дверцу, закурил, высунув из кабины длинные ноги в обтрёпанных обмотках.

С подножки кабины, придерживаясь двумя руками за дверцу, соскочил худой носатый сержант.

Зажав волосатую ноздрю пальцем, высморкался на грязную землю. Вытер пальцы о штанину и поздоровался со старшиной за руку.

Потом вытащил из кирзовой планшетки мятый лист бумаги.

– Я буду называть фамилии, подходим, расписываемся в ведомости, получаем оружие. Потом становимся в строй. Всем всё понятно?

Когда опустили борт, штрафники увидели наваленные на полу кузова винтовки. Наверное, их собрали на поле боя. Винтовки были порядочно изношенные, в налипшей на них засохшей земле. Некоторые в крови, ржавчине, с сыпью в каналах стволов.

Старшина роты крикнул, вполголоса выматерился. Для него, кадрового вояки, который всю службу пёкся о чистоте и исправности оружия, видеть ржавые и побитые винтовки было тягостно.

Штрафники переглянулись, и взгляд их стал общим взглядом волчьей стаи, готовой вырвать что-нибудь из чужой глотки.

Сержант уткнулся в список.

– Клепиков. Получи оружие!

– Лови, – крикнул из кузова один из бойцов и ткнул ему винтовку стволом вперёд. Клёпа, неловко подпрыгнув, ухватился за холодную железяку.

Он был невелик. В тяжёлых ботинках, напитанных водой и кой-где перепачканных глиной. Но заартачился как большой.

– Что ты мне эту палку суёшь? Она же кривая! С ней ещё мой дед в Крымскую кампанию воевал. Давай автомат!

Автомат ему не дали. Сержант вздохнул, потом вспомнил, кто стоит перед ним, гаркнул:

– Щас как тресну по башке, падла уголовная! А ну-ка встань в строй!..

Изо рта сержанта на Клёпу пахнуло махорочным перегаром. Клёпа взял винтовку, встал в строй.

Только получили оружие, и тут же новая команда старшины:

– Винтовки разобрать, почистить и смазать. Чтобы блестели. Как у кота яйца. Ночью на передовую. Там же получите боеприпасы. И смотрите мне!

Потом подумал и добавил:

– Винтовка должна у каждого работать, как жена в постели.

Носатый сержант сел в кабину, и полуторка, развернувшись, поползла обратно.

Где-то в стороне нервный мат старшины:

– Куда ты целишься, баран?! Мать твою! Мать! Мать!

Голос Швыдченко:

– Да я... это... только попробовал.

Снова крик старшины:

– Пробовать на своей бабе будешь, если она тебе даст. А здесь всё по команде!

И снова – мать-перемать!

Вечером старшина жаловался командиру роты:

– Ну и ёры, товарищ командир! Ну и ёры! Пятнадцать рокив в червонной армии служу. Но таких ещё не выдав. Так и смотрят, как что-нибудь спереть, или напакостить. Скрали у меня портсигар. Не иначе как энто, плюгавый, с блудливой мордой. Если они так же и воевать будут, наплачемся мы с ними!

Посреди ночи штрафников растолкали, всех выгнали из траншеи. Потом раздали патроны – по три обоймы на человека.

Сложили обоймы в подсумки, подтянули ремни и через четверть часа уже топали по грязи в темноте навстречу вспыхивающим осветительным ракетам и колко пронзающим темноту огнистым трассирующим пулям.

Люди, в своих серых бесформенных шинелях, похожие друг на друга, как близнецы, угрюмо тащили на своих плечах и загорбах пулемётные станки и стволы, миномётные плиты, длинноствольные противотанковые ружья, похожие на длинные носы каких-то чудовищ.

Винтовка. Противогаз. На поясе подсумок с обоймами. Сапёрная лопатка. Котелок. На голове – неудобная и тяжеленная каска. За спиной горбится вещмешок с запасными портянками и нижним бельём.

В кармане сухарь.

Приклад винтовки елозил по спине, стараясь ударить по заднице.

– Не растягиваться! Шире шаг!

– Куда нас ведут? – спрашивал Швыдченко у идущего сбоку от строя молоденького младшего лейтенанта.

В штрафных ротах полагалось держать агитаторов, кем и был младший лейтенант, и тот ответил с напускнуной грубоватостью в голосе:

– Когда придём, тогда и узнаешь. Отставить разговоры в строю!

Несколько часов назад прошёл дождь. Звёзд совсем немного – видны только самые крупные. Небо всё же светлее, чем в Тайшете. Справа и слева в темноте виднелись танки и самоходки с длинными стволами, деревья, бугорки блиндажей.

Шли долго. Земля под сапогами была тяжела, и ошметья грязи цеплялись за ботинки.

Устало бредущее воинство остервенело всаживало в мягкую, размокшую от дождя землю стоптанные каблуки старой обуви.

Штрафники долго шагали по раскисшей дороге, пока не уткнулись в перекопанное и перерытое траншеями поле.

Лица солдат были грязными, а обмотки залеплены грязью до такой степени, что стали похожи на валенки.

Отдельную штрафную роту поставили в первом эшелоне. Бойцы быстро заполнили пустые окопы, которые до них занимал стрелковый батальон. Пехотой усилили фланги.

Во втором эшелоне уплотнили боевые порядки. Батальонам предстояло идти сразу же за ротой прорыва.

Именно отсюда должно было начаться наступление.

* * *

Неделю назад, после возвращения из госпиталя, капитан Анатолий Половков оказался в офицерском резерве армии.

Он шёл по улицам небольшого прифронтового городка походкой незанятого человека и скольльзящим взглядом окидывал жилые дома, учреждения, прохожих и по военной привычке оценивал, где бы поставил огневую точку, высматривая попутно варианты отхода.

За три года войны в армейский тыл он попал впервые.

Сразу же поразило огромное количество наглаженных и затянутых в ремни офицеров, сновавших по улицам с деловым видом. У многих на груди ряды орденов и медалей.

Половков со смущением покосился на свою грудь. За три года боёв он заработал всего лишь две медали «За отвагу».

Правда, и два ранения.

Вспомнилась фронтовая присказка, что чем дальше от передовой, тем больше героев.

В тылу располагались все тыловые, хозяйственные и специальные подразделения, медсанбаты, артиллерия покрупнее, а потом помельче. День и ночь царило столпотворение, слышались крики команд, всюду были натканы часовые с оружием.

Ближе к переднему краю всегда охватывало сиротливое чувство: куда все подевались? В окопах на передке были видны лишь грязные, замызганные солдатики, такие же измученные и усталые офицеры.

Удивило посещение офицерской столовой. Еду там разносили в тарелках, подавали официантки! Половков был потрясен. Женщин он видел только в госпиталях.

Не тратя напрасно времени, направился в штаб, где располагался отдел кадров.

Штаб – двухэтажное здание неподалёку от столовой. Половков быстрым шагом обогнал посторонившихся и козырнувших ему солдат.

На крыльце часовой пререкался с солдатом-артиллеристом.

– Мало ли, что тебе надо! – говорил часовой. – Получи пропуск и будь любезен, пропущу без звука.

– Да там мой майор!

– Мало ли чей там майор! А ну хватит, отойди! – строжился часовой, заметив подошедшего офицера.

– Товарищ капитан! – вдруг раздался грозный голос над ухом зазевавшегося Половкова.

Он повернул голову. Рядом стоял вышедший из штаба невысокого роста майор, одетый с иголочки.

– Почему не приветствуете старшего по званию?

– Виноват! – машинально ответил Половков. – Не заметил.

Поймал себя на мысли, что захотелось щёлкнуть каблуками. Стало стыдно – он, боевой офицер, испугался штабной крысы.

Назначения в штабе ожидали еще несколько офицеров. Коротая тоску ожидания, они слонялись по улицам, заступали в наряды, исполняли обязанности офицеров связи.

Дождаясь своей очереди, Половков в курилке слышал от офицеров, что два дня назад погиб командир армейской штрафной роты. Услышал и услышал, не придав этому значения.

Половкову еще в госпитале доводилось слышать разговоры о том, что при фронтах и армиях по приказу Верховного созданы штрафные подразделения, в которых воюет всякое отребье – уголовники, дезертиры, даже бывшие полицаи и власовцы.

Слышал и о том, что воюют они отчаянно и всегда на переднем крае.

Половков три года провёл на передке, воевал в пехоте и не видел особой разницы между стрелковой ротой и штрафной.

Там и там назначали в разведку боем, ставили на прорыв обороны противника или на пути его наступления.

В штабе было тепло и чисто и прохладно.

В кабинете помощника начальника штаба армии, сухой и жёлтый, словно куст саксаула, майор полистал тощую папку с его личным делом. Нервно затянул тесёмки и, бросив папку на стол, раздражённо спросил:

– Какого рожна ты ещё кочевряжишься капитан?.. Соглашайся, пока я добрый.

Половков плотный, крепко сбитый, с серыми холодными глазами и строевой выправкой упрямо и несговорчиво молчал.

Помощник начальника штаба армии только что предложил ему должность командира отдельной штрафной роты. Назначе-

ние к штрафникам, где в подчинении у него будут уголовники и предатели, совсем не радовало.

Видимо, это молчание вывело майора из себя.

Он взорвался. Ударил по столу жёлтым, сухим кулаком.

– Плохо начинаешь у нас службу, капитан! Что значит не пойдёшь? – Его тенорок набирал высоту, густел, становился грозным.

Половков хмуро и неуступчиво упрямылся.

– Я, товарищ майор, боевой офицер. Дважды ранен, награждён. Мне всякой швалью командовать не с руки! – наконец выдал из себя.

Голос майора неожиданно помягчел.

– Да пойми ты, голова садовая. Преступников и отребья в штрафной роте хватает. Но есть и просто бойцы. Хорошие солдаты, младшие командиры, которым просто не повезло. Большинство составляют именно они. И запомни. Тебе оказано доверие. Абы кому мы штрафниками командовать не поручаем.

Майор хитро прищурился, словно кот, почуявший мышь.

– Сам посуди, капитан. Майорская должность, права как у командира полка. Выслуга – один к шести.

Построжел.

– И не забывай. Мы ведь можем пересмотреть своё решение, и тогда ты пойдёшь в штрафную уже рядовым!

Настроение Половкова вконец изгадилось. Попал, что называется. Без меня, меня женили! Не спросясь! Бред по сути.

– Слушаюсь. Когда отбывать?

Майор уже спокойно сказал:

– Во дворе «ЗИС» грузится, я уже предупредил, чтобы тебя взяли с собой. Сейчас зайди в кадры, оформи документы. Я распоряжусь, чтобы всё быстро оформили.

– Благодарю, товарищ майор!

– Благодарить потом будешь. Когда живым домой вернёшься!

Половков повернулся и вышел. Нашёл кадровиков. В кабинете сидело двое.

Капитан в мешковатой гимнастёрке, скрывающей солидное брюшко, и молодая женщина, с погонами сержанта и медалью «За боевые заслуги».

Капитан, прислонившись к подоконнику, пил чай из настоящего стеклянного стакана в мельхиоровом подстаканнике.

Женщина сидела за громоздким и некрасивым столом. Она была в гимнастёрке и в юбке. На ногах ладные начищенные

сапожки на каблуках. Под гимнастёркой была заметна крупная крепкая грудь.

Она была настолько миловидна, что её даже не портили ни грубая ткань гимнастёрки, ни офицерский ремень.

На столе перед ней стояла тяжёлая печатная машинка.

Капитан спросил фамилию и, покопавшись в своих бумагах, поставил печати в продовольственном и вещевом аттестатах.

– Разрешите идти? – спросил Половков.

– Возможно, – буркнул кадровик и повернулся к женщине: – Нина отпечатай приказ на капитана.

Та мазнула взглядом по его наградам, отпечатала приказ на дребезжащей пишущей машинке. Спросила ровным безразличным голосом:

– Оружие есть?

– Есть.

– Тогда ладно. Подождите на улице.

«Цаца какая», – подумал о ней Половков раздражённо, выйдя на крыльцо. Погрузку машины уже заканчивали. Он свернул самокрутку, перекурил, греясь на солнышке. Потом снова зашёл в кадры.

Получил на руки документы.

В кабину побитого «ЗиСа» уселся худощавый интендант с кипой разных накладных в руках и водитель. Он посигналил, и Половков влез в кузов, устроился на ящиках.

Трясло сильно, и он вынужден был держаться за крышу кабины, чтобы не выпасть из кузова. Дорога была разбита колёсами машин, гусеницами танков. Кроме того – забита войсками.

Колонны грузовиков, с пушками на прицепах, гусеничными тягачами и танками шли по дороге в два ряда. Редкие встречные машины ехали по обочине, а то и просто по полю.

Всё это скопище техники ревело, сигналило и гадило выхлопами. От едучего запаха солярки щипало в глазах и носу, першило в горле.

Они прибыли в Зарайск. Водитель остановился на перекрёстке.

– Вам туда, товарищ капитан! – он махнул рукой, указывая направление.

* * *

Штаб отдельной штрафной роты размещался на краю деревни в крепком пятистенке под шиферной крышей. Над его

крыльцом висел серый от дождя лист фанеры с чуть проступавшими меловыми буквами: «Хозяйство Перфильева». Это была фамилия погибшего командира штрафной роты.

Капитан Половков приказал построить роту.

Угрюмого вида старший лейтенант бросил:

– В четыре шеренги, повзводно! Становись!

Тут же команду подхватили:

– Рота строиться. Становись!

Штрафники бежали в строй. Личное оружие держали при себе, и поэтому почти каждый захватил его.

Половков стоял на крыльце и курил, рота строилась в четыре шеренги. Бойцы бросали косые взгляды – что, мол, за капитан объявился?

У Половкова аккуратный вид, всё подогнано по росту, подшито, сапоги вычищены.

Покрикивали командиры взводов, выравнивая шеренги, суетились сержанты.

Через минуту старший лейтенант отдал команду:

– Равняйся! Смирно!

Команда была произнесена очень тихим, несколько сипловатым голосом с двумя ударениями на каждом слове.

Половков сошёл со ступенек крыльца и направился к роте неторопливым шагом, осматривая своё воинство внимательным прищуренным взглядом. Рота, несмотря на команду смирно, ждала его, не особенно напрягаясь.

Выслушав доклад, пристально оглядел каждого, стоящего в строю.

– Здравствуйте, товарищи бойцы и командиры!

– Здра... жла... таащ... каптан... – рота ответила не очень громко, и капитан не то закашлялся, не то скривился, прикрыв губы кулаком.

– Я ваш командир роты, капитан Половков. С сегодняшнего дня будем воевать вместе!

Он пошёл вдоль строя, делая замечания:

– Где твой противогаз? Почему стоишь в пилотке, где каска? Где вещмешок? Почему расхристан, товарищ боец?

Еще несколько раз прошёлся вдоль строя, остановился на середине и произнес:

– Слушайте меня внимательно, товарищи бойцы. Мне всё равно, штрафники вы или не штрафники. Кто и за что попал сюда. Но запомните, зарубите каждый у себя на носу, где бы вы ни были, с вами всегда должны быть оружие, патроны и

противогаз. На ремне фляга с водой, шинель-скатка, вещевой мешок. У каждого офицера, кроме личного оружия, сумка или планшетка. С этим и строиться. Через пять минут всем стоять в строю. Офицерам и младшим командирам остаться. Разойдись!

Штрафная рота состояла из постоянного и переменного состава. К переменному составу относились те, которые прибывали в батальон для отбытия наказания за совершённые проступки, то есть штрафники. К постоянному составу относились командиры взводов, взводные агитаторы, старшина роты.

Десять офицеров по штату. Одиннадцатый был прикомандированным, хотя и состоял в ней на всех видах довольствия. Сначала это был уполномоченный особого отдела НКВД, а с апреля 1943 года – оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» – структуры Наркомата обороны. Командиру роты он не подчинялся и в строю не стоял.

Было также небольшое постоянное ядро из рядовых и младших командиров: старшина роты, писарь – каптенармус, санитар-инструктор и три взводных санитаря, водитель грузовика ГАЗ-АА, два ездовых и два повара.

Командиры отделений и помощники командиров взводов частично были из штрафников.

Половков оглядел строй постоянного состава.

Командиры взводов. Обычные фронтовые офицеры. Без гусарского лоска. Работяги войны. Точно такие же взводные агитаторы. Раньше в стрелковых частях их называли политруками.

Обслуживающий персонал – два повара, писарь и два ездовых.

Старшина штрафной роты Ильченко, похожий на всех армейских старшин. С первого взгляда видно, что плут. На рябоватом, морщинистом лице поблескивали глазки битого жизнью и неробкого человека.

У Половкова глаз набитый. Сразу увидел, что старшина этот ушлый и по части того, чтобы что-нибудь достать или выбить ему нет равных. С этим Половкову повезло.

Старшина действительно был дока. Хозяйственный, прижимистый, он имел знакомства во всех тыловых службах и обеспечил штрафную роту всем необходимым.

Штрафная рота в атаку шла первой, и ей доставались все более или менее ценные трофеи. По мере необходимости старшина брал эти трофеи с собой и ехал в тыл дивизии. Тыловики в

таких случаях всегда добрели, и штрафникам часто перепали лишняя канистра с водкой, папиросы вместо махорки, вместо банок с перловкой тушёнка и чистое бельё.

Баня в окопах была редкостью, и бельё приходилось менять часто.

То же самое было и со штатным оружием.

У старшины был лишь один существенный недостаток. Вернее, два. Брехлив был без меры и передовой боялся как огня. Поэтому старался при малейшей возможности оказаться как можно дальше от окопов.

Командиры взводов вроде тоже были ничего! Но напустить на себя строгости с первого дня не мешало.

– Почему не занимаетесь подчинёнными, товарищи командиры, мать вашу?.. Почему бойцы по приказу строиться не бегут, а ползут?.. Распустили личный состав и сами разболтались! Впредь буду спрашивать с вас не только за себя, но и за каждого подчинённого.

Половков качнулся на носках:

– Старшина! Я там видел бойца в разбитых ботинках. Только что проволокой подошва не подвязана. По-че-му?!

– Это Труфанов, товарищ капитан. Страсть к игре имеет. Но не имеет таланта. Всё проигрывает. Видать, вчера свои чоботы проиграл.

Половков побагровел. У него медленно приподнялась одна бровь, и от неё наискось через лоб протянулась тонкая складка. Он качнулся вперёд, но старшина поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти ласково:

– Я не спрашиваю, куда боец дел ботинки? Я спрашиваю, почему он стоит в строю в таком виде?

Старшина не сразу понял смысл сказанного. Он лишь уловил в его голосе выговор, и ему стало не по себе.

Половков помолчал, успокаиваясь.

– Если боец профукал сапоги или ботинки, накажите его, но найдите ему другие! – он повысил голос. – И запомните правило: не найдёшь замену, отдай свои. Но чтобы человек в бой шёл обутом, а не босиком. Карты запретить. Если узнаю, что проигрывают казённое обмундирование, буду добавлять по месяцу штрафной. Каждому!

Многоопытный Ильченко всё понял с полуслова. Искренне изобразил раскаяние, сказал проникновенным голосом:

– Есть! Будет исполнено, товарищ капитан.

Командир роты продолжил:

– Всем командирам взводов приказываю немедленно заняться личным составом. Чистка оружия, боевая учёба, отработка приёмов рукопашного боя. Старшине роты проверить комплектность обмундирования, исправность обуви, внешний вид бойцов. Организовать трёхразовое горячее питание.

Санитарной службе проверить личный состав на наличие вшей.

Заместителю по политической части проследить за выполнением приказа.

С каждым из вас более близко познакомимся в процессе службы. Время покажет, кто из вас не на своём месте. Разойдись!

На этом построение закончилось. Разошлись по служебным местам.

После построения к Половкову подошёл тот самый, угрюмого вида, старший лейтенант.

Приложил руку к виску. Представился:

– Командир первого взвода, старший лейтенант Васильев.

Половков подал ему руку.

Упрямо нагнув голову, Васильев сказал:

– Товарищ капитан, вы человек у нас новый. Штрафной специфики не знаете. Не принято у нас по матери среди своих выражаться. Уважения это вам не добавит, а конфликты со штрафниками появятся. Надо бы вам поаккуратнее, иначе застрелят в первом же бою. В бою материться можно. К этому все относятся с пониманием.

Половков сухо заметил:

– Благодарю вас, старший лейтенант. Учту!

Потом помягчел и со смущением сказал:

– Вы вот что, старший лейтенант, расскажите мне о штрафной, с чем её едят. А то я только верхами слышал, а подробностей не знаю.

Васильев не удивился.

– Значится так... В каждой общевойсковой армии три штрафных роты. У лётчиков и танкистов своих штрафных нет, отправляют к нам. Пополнение приходит каждый день по одному, по два человека. Любой командир полка может отправить своим приказом в штрафную роту солдата или сержанта. Оснований для этого много. Невыполнение приказа, проявление трусости в бою, оскорбление старшего начальника, драка, воровство, мародёрство, самоволка, а может, просто ППЖ комполка не понравился и прочее и прочее. В штате штрафной роты – командир

роты и его заместитель, восемь командиров взводов вместе с агитаторами, четыре сержанта из постоянного состава и двенадцать лошадей. Героически воюем, потом выходим из боя и в ожидании пополнения потихонечку пропиваем трофеи.

Потом прибывает эшелон уголовников, человек двести-триста и больше, и рота сразу становится батальоном, продолжая именоваться ротой. Это значит, что скоро в бой. Через несколько дней от роты остаются ошметки, и мы снова в ожидании пополнения пропиваем трофеи.

* * *

Первое знакомство со штрафниками оставило в душе Половкова странный осадок. Внешне это были вполне нормальные сильные мужчины.

Никто из них, попав в штрафную роту не ощущал себя изгоем, не испытывал чувства подавленности, не лебезил перед старшим по званию. Они не казались замордованными или забитыми. Свой приговор и наказание несли как крест.

Кто-то из них был улыбчив, другой, напротив – насторожен или угрюм. Половков видел их глаза. У одних они были испуганные, у других ненавидящие или равнодушно-спокойные. У кого-то погашенные отчаянием или взблёскивающие полубезумной, злою лихостью.

На многих из них ладно сидела военная форма. Вели себя достаточно свободно. Похоже было, что не боятся ни бога, ни чёрта.

Однако личные дела и прошлые «подвиги» этих людей впечатляли. Было ощущение, что роту сформировали из отходов, вернее из отбросов.

Осужденных из-за оплошности или разгильдяйства было мало. Большинство уж точно не ангелы – убийцы, насильники, грабители, бывшие полицаи и власовцы.

Военные трибуналы большинству из них отмеряли по полной – от пяти лет до смертной казни, заменённой штрафной. Несмотря на приказ Верховного направлять в штрафную лишь тех, чей срок наказания не превышал десять лет, смертников в роте оказалось трое. Тут было от чего призадуматься.

«Ладно, жизнь покажет, кто есть кто, – здраво рассудил командир роты – в бою и увидим, какого цвета у каждого нутро».

Перед отправкой в штрафную роту военнослужащего полагалось выполнить определённую процедуру, похожую на ритуал. Осуждённого солдата или сержанта ставили перед строем.

В назидание всем остальным зачитывали приказ с описанием совершённого преступления и разъяснением его противоправной сути.

Все ордена и медали временно изымались и передавались на хранение в отдел кадров фронта или армии.

Вместо красноармейской книжки на руки выдавали удостоверение специального образца.

Иногда вместо удостоверения штрафник получал лишь справку, которую ему со временем должны были заменить на положенное по приказу удостоверение.

Но часто случалось такое, что штрафник погибал, даже не получив документов, подтверждающих свой штрафной статус.

Командиры отделений зачастую тоже назначались из штрафников. Это были разжалованные старшины и сержанты, обладающие опытом и непререкаемым авторитетом.

При назначении на должности младшего командного состава штрафникам присваивались звания ефрейтор, младший сержант и сержант.

Штрафники переменники это бывшие сержанты и рядовой состав. Проштрафившиеся офицеры направлялись в штрафные батальоны. Но иногда в штрафных ротах встречались и офицеры, в основном, разжалованные лейтенанты. В боевой обстановке они подменяли командиров взводов, руководили боем, в качестве помкомвзводов непосредственно находясь среди штрафников.

С бывшими заключёнными всё обстояло иначе. К ним применяли отсрочку приговора и под конвоем доставляли на сборные пункты, где переодевали и в составе маршевых рот отправляли на передовую.

Частым гостем в штрафной роте был оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» – структуры Наркомата обороны. Он рыл носом землю, вынюхивая измену всюду, куда только мог дотянуться его нос.

Очень быстро Половков понял, что с особистом роте не повезло. Оказался он редкой тварью, не считающей штрафников за людей. Иногда в голове даже мелькала мысль: «Хоть бы кто пристрелил эту гниду».

* * *

Наступление советских войск выдохлось, и фронт уже второй месяц находился в обороне.

Вначале части пошли в наступление. Но немцы быстро опомнились, пришли в себя, потом перехватили инициативу и кое-где даже начали контратаковать. Натиск советских войск постепенно пошёл на спад. Люди были измотаны непрерывным наступлением, было приказано боеприпасы не тратить. Их надо было беречь. Снарядов у Родины было уже мало, а солдат всё еще хватало.

Немцы успели перегруппироваться, подтянули подкрепление, и все попытки атаковать заканчивались ничем.

Пехота осталась лежать под неприятельским огнем. Телефонисты передавали командирам полков, батальонов и рот перемешанные с матом ожесточённые приказания старших командиров: «Прорвать! В Христа, в бога, мать и селезёнку! Поднять людей в атаку и опрокинуть фрицев!»

Приехал легендарный маршал Ворошилов. Кричал на командира дивизии за то, что людей не смог поднять в атаку.

Командиры взводов и рот, выполняя приказ, всё поднимали и поднимали людей в бессмысленные и безнадёжные атакующие броски.

Но в конце концов стало ясно, что продвинуться вперёд уже не удастся и после пятой, шестой... восьмой неудачной атаки поступил приказ: «Окопаться».

Пехота начала зарываться в землю. Все работы велись по ночам, при свете разноцветных немецких ракет и горящей техники.

В земле, как паутина, появился запутанный лабиринт траншей, звериных нор и норок. Через несколько дней местность было не узнать. Это был уже не лесистый берег какой-нибудь речушки, не участок поля, а истыканный минами, опоясанный колючей проволокой, начинённый железом и политый кровью «передний край», разделенный на два мира, как рай и ад.

По ночам с той и другой стороны слышали, как стучат топоры противника, тоже укрепляющего свой передний край.

Выкапывались и тщательно маскировались от авиации противника блиндажи и землянки.

Подтягивались тылы, подвозились снаряды, патроны, водка, хлеб, сено, консервы. В ближайшем тылу, где-нибудь в лесу разворачивались медсанбат, полевая почта, вспомогательные службы.

Прибывала артиллерия. Орудия вкапывались в землю и пристреливались по отдельным целям и ориентирам на местности.

Начиналась более или менее спокойная фронтовая жизнь, дрянная, лишённая комфорта и удобств, но все-таки жизнь. Солдаты на передовой начинали получать ежедневные сто грамм, полевая почта привозила солдатские треугольники писем, и это уже была почти счастливая жизнь.

Проходило несколько недель и даже несколько месяцев.

Стояние в обороне начинало казаться изнурительным, скучным, невыносимым.

Вновь готовилось большое наступление. Прибывали и прибывали всё новые части. Окрестные леса забивались танками, грузовиками с боеприпасами и продовольствием.

В траншеи красноармейцев стрелкового батальона, расположенные в первой линии обороны, со дня на день должны были прибыть штрафники.

Это означало лишь одно, что через несколько дней на этом участке фронта начнётся наступление. А потом в прорванную штрафниками брешь бросят стрелковые части.

Предстоящего наступления ждали и боялись.

Бойцам в окопах не спалось, собирались вместе – покурить, поговорить о житейском.

Кто-то сидел молча, глядя в небеса, в чёрную мерцающую звёздами высь, пытаясь представить, что будет с ним завтра. Кто-то просто молился про себя или, предчувствуя близкую смерть, писал перед боем последнее письмо, надеясь как можно дольше оставаться живым в памяти своих – детей, жён, матерей.

* * *

Проделав почти пятнадцатикилометровый марш, бойцы отдельной штрафной роты вышли к передовой. Перед маршем каждому выдали по горсти патронов.

Во время движения на колонну из-за облаков вывалился немецкий самолёт. Развернулся и прошёл на бреющем над колонной.

На крыльях заплясали огненные вспышки – пулемёты хлестанули по изрезанному танковыми гусеницами полю. На грязной земле вздыбились фонтанчики грязи.

Штрафники рассеялись по полю. Клёпа упал в какую то яму, выставил ствол винтовки и с перепугу пальнул в сторону самолёта.

Самолёт ещё раз как на швейной машинке прострочил по полю: вжик-вжик-вжик – качнул крыльями и скрылся за лесом.

Командир роты выбрался из ямы, в которой залёг вместе с Клёпой; встав на её краю, оглядел лежавшего бойца.

– Ну ты и геро-ооой! – насмешливо протянул он. – Один прогнал фашиста. Стопроцентно подыхать полетел!

Прибыв на место, рота заняла траншеи и выставила боевое охранение.

Окопы были неглубокие, блиндажи накрыты тонкими брёвнами в один накат. Внутри было тесно – посередине горела бочка, приспособленная под печку. Вдоль стен нары, слепленные из всякого хлама. Обрезков досок, дверей, притащенных из деревни.

Утром штрафники разглядывали раскисшее поле, изуродованное взрывами снарядов и перепаханное танковыми гусеницами.

Впереди чернели остовы двух сгоревших танков, валялась опрокинутая изуродованная пушка с разорванным стволом.

До немецких позиций – метров восемьсот. По ночам с их стороны гулко стучал крупнокалиберный пулемет.

Штрафники сразу же принялись точить ножи, сапёрные лопатки.

Притащили несколько ящиков с гранатами, в том числе и со старыми РГД-33, снятыми с вооружения из-за сложностей в обращении.

Запалы лежали отдельно. Бойцы косились на гранаты и брать их не хотели. Пополнение, прибывшее из лагерей, видело их первый раз.

Тогда Половков приказал раздать РГД-33 опытным бойцам, уже участвовавшим в боях.

Удобные и безотказные четырехсотграммовые РГ-42 распределили между всеми остальными.

Командование армии надеялось, что штрафная рота выполнит задачу штурмового отряда и пробьёт линию немецкой обороны.

Считалось, что штрафники способны сотворить чудо. Но чудо достигалось огромной кровью. У штрафников было одно неоспоримое преимущество – злость. И желание любой ценой выскочить из этой прожарки.

Вечером в землянке свободные от дежурства штрафники пили кипяток из громадного, чёрного от копоти армейского чайника, смалили махру, пуская к низкому потолку густые струи дыма. И тянулись медленные мужицкие разговоры.

За линией немецких окопов за взгорком располагалась деревня. Там тоже стояли немцы. Они периодически крутили патефон, топили печи, и дымок постоянно вился из печных труб.

Такая мирная жизнь раздражала штрафников и особенно полковое начальство, смотревшее на деревню в стереотрубу.

Днём с обеих сторон постреливали, больше для остротки. Боялись демаскировать огневые точки. Изредка на позиции обрушивался залп полковых миномётов.

Ночью другое дело. Немецкие пулемётчики били на каждый шорох. Тут же вешали ракету. В первую ночь убило двух штрафников, одного ранило. Его уже отправили назад, как искупившего кровью...

Сегодня у немцев было веселье.

Ветерок доносил звуки музыки.

Немцы крутили советские пластинки, и слышался голос Леонида Утёсова:

*Прощай же, товарищ,
Ты честно прошёл,
Свой доблестный путь благородный*

А в перерывах между пластинками слышался голос, который на чисто русском языке повторял каждые полчаса:

– Советские бойцы, сдавайтесь! СССР доживает свои последние дни! Бойцы и командиры, хрен с ним, со Сталиным, вам надо подумать о своей судьбе!

Через тридцать минут тоже самое:

– Советские бойцы и командиры!

А фоном немцы стучали ложками по котелкам и термосам, гомонили: «Эй! Иван, иди, хлеб каша давать будем».

Со стороны штрафников тут же раздавалось:

– А ху–ху не хо–хо?

Несколько минут немцы обдумывали, пытаюсь понять ответ. Понимали его правильно. Раздавался визг мины, и на позиции штрафников обрушивался огненный смерч.

Испытывая вечный дефицит снарядов, советские батареи не отвечали.

Коротко огрызнулись два «максима». Их гулкие и чёткие очереди несколько минут с треском разрывали влажный осенний воздух.

Потом снова наступала тишина.

От немецких позиций лёгкий ветерок приносил запах кофе и сигаретного дыма.

Не все штрафники горели желанием рвануться в бой. Страшно! Хочется жить! Но тоска, тревожное ожидание атаки и песни Утёсова сводили с ума.

Штрафники сидели в окопах. Тянули самосад.

Лученков смотрел на немецкие окопы, освещаемые дрожащим светом ракет. Тревога и сосущая боль терзали душу. Вспоминалась, обсаженная тополями улица, ведущая к дому. Осенью дворники жгли листья, а Глебу нравилось, как они шуршат под каблуками.

*Негромко сапожки стучали,
Всё ближе, всё ближе твой дом!
А мы не спешили,
Друг друга ласкали,
Целуя взахлёб, ведь однажды живём!
А листья шуршат, и шуршат, и шуршат,
Цепляясь за стук каблуков,
И пальцы, как птицы, в ладонях лежат,
Притихнув от сказанных слов*

Боже мой, как всё это давно было!.. Как звали ту девочку, которой он читал стихи?

Жизнь в обороне скучна. Командование приказывает обустроить быт.

Старшина выполнил приказ командира роты. Нашёл штрафнику Труфанову ботинки. Вот только они оказались на два размера больше. Можно было бы набить их бумагой, но её на передовой всегда не хватало. Газеты если и доходили, то чаще в виде отдельных клочков, которые пускали на самокрутки. Они ценились на вес золота.

Поэтому Труфанов затолкал в полученные ботинки немецкие листовки. Радовался своему везению. Немецкие агитки втихаря использовали вместо подтирки и для тепла набивали их в ботинки. Зная, что русским не выдают бумаги ни для курева, ни для других неотложных надобностей, немцы печатали свои листовки на мягкой бумаге. Расчёт был на то, что перед употреблением русский обязательно прочтёт написанное.

Был строжайший приказ: листовки не читать. За нарушение приказа – трибунал. Немцы призывали бросить оружие и переходить на их сторону. Обещали после войны жизнь без колхо-

зов, свободу, работу. В каждой листовке был напечатан пропуск, в котором гарантировалась жизнь его владельцу.

– Мудалаи, мать вашу за передок! Что же вы творите? – сокрушался Половков, обнаружив очередную немецкую листовку у подчинённых. – Меня же вместе с вами за кадык возьмут. Но меня-то дальше фронта не пошлют, а вас ведь к стенке прислонят!

Начинались политзанятия и ежедневная чистка оружия. Кроме всего, усталость и томящее ожидание выворачивали души. Клёпа раздражённо бурчал: «Мать моя женщина! Скорее бы, что ли».

* * *

Погода испортилась внезапно. Из серого неба то и дело сыпалась льдистая крупа, и ветер завывал совершенно по-звериному.

Впереди слышался невнятный громовой гул, и тогда каски тех, кто сидел в траншее, как магнитом поворачивались туда.

Свободные от дежурства штрафники набились в землянку.

В чистом поле, где чаще всего воюет пехота, нет ни домов, ни вообще крыши над головой. Солдат же должен иметь себе хоть какой-то приют и укрытие, поэтому как в сказке про суп из топора, чтобы не пропасть, копали землянки, строили блиндажи, где можно было обогреться, посушить портянки, хоть как-то поспать.

Землянка, это просто выкопанная в земле яма. Потом её перекрывали накатами из брёвен и засыпали землей. В крыше делали дыру для трубы. Находили железную бочку, из которой мастерили печку.

Жарко пылала раскалённая буржуйка.

Бойцы занимались каждый своим: кто брился, кто штопал одежду, кто кипятил в помятом ведре обмундирование, избавляясь от вшей.

Вокруг печки на рогульках и верёвках были развешаны для просушки кальсоны, гимнастёрки.

В блиндаже стоял запах прелых портянок, мокрых шинелей, угля, табачного дыма, выпущенного из чёрных от никотина лёгких.

На скамьях и просто на полу тесно сидели штрафники, уже пожившие насупленные мужики и совсем молодые парни.

Полураздетые штрафники слушали Клёпу. Он в центре внимания, размахивая руками, изображал схватку с немецким лётчиком.

«Идём на фронт, чтобы побить Гитлера! Вдруг в небе появляется фашист и пикирует на нашу колонну. Все, конечно, в разные стороны. Один я не растерялся. Схватил винтовку и с колена целюсь. Бах – мимо. Еще раз – бах. Опять мимо. Немец снижается, идёт на таран. Тогда я, как и положено грамотному бойцу Красной Армии, вскакиваю и готовлюсь его штыком!

Раздавался недоверчивый голос – самолёт штыком?!

Глеб, прикрыв глаза, представил, как на Клёпу пикирует Ю-87. По солдатской терминологии – «лапотник», прозванный так за неубирающиеся шасси. Клёпа, как на плакате, бьёт по лётчику штыком. Самолёт падает, и лётчик кричит: «О! Майн гот! Немецкий ас Ганс Мюллер погиб от руки советского солдата Клёпы. Умираю за фюрера»!

Взрыв. Советские солдаты выползают из окопов и слышится многократное «Ура».

Лученков улыбнулся и спросил:

– Ну как, Клёпа, сбил?

– Да струсил немец! Отвернул в сторону и удрал. Командир роты, как увидел, сразу сказал, «Ты рядовой-переменник, Клёпа, настоящий герой! Представляю тебя к ордену».

Вот сейчас жду, когда в Москву вызовут.

Кто-то из штрафников засмеялся:

– В трибунал тебя вызовут, чтобы в карты не жульничал. Вот у нас под Ржевом был случай... Ещё до штрафной.

Его перебил Гулыга:

– Да погоди ты, со своим Ржевом...

Штрафники заинтересованно заговорились.

Сюжетов у Гулыги было немного, но вдохновенная манера, образный язык и неистощимая фантазия рассказчика заставляли слушать его снова и снова. Даже излишне натуралистические детали ничуть не смущали присутствующих, которые жаждали всё новых и новых подробностей, активно соперничая вместе с ним.

Гулыга подошёл к печке, присел на корточки.

– Как-то судили меня ещё по молодости лет в славном городе Орле.

Был я там проездом и вертанул на бану угол у какого-то фраера. Но не повезло...

Суд, тюрьма, лагеря, этапы – были для Никифора Гулыги частью его жизни. Ему и самому было чудно, что он ещё жив. Матерится, дышит, хочет жрать и вот теперь вроде как и сам на свободе.

О тюремной жизни он рассказывал легко и интересно, отвлекая от мрачной действительности и не давая оставаться наедине со своими скорбными мыслями. Мог приукрасить, но это не была ложь. Просто сама жизнь была настолько скудной, что её приходилось окрашивать в разные цвета.

– Налетели на меня мусора, скрутили ласты и повезли на кичу. Месяц сiju, два... полгода. Камера. Решётка. Век воли не видать. Наконец привозят на суд... полчаса, и трёшка у меня в кармане. Но у мусоров ломается воронок, решают меня конвоировать до КПЗ пешком.

В землянке на снаряжном ящике чадила сплющенная артиллерийская гильза.

Гулыга задумался. Было видно, что вспоминает он с удовольствием, переживая всё вновь.

– А вы представляете, на дворе май! Всё цветёт и каждая щепка лезет не щепку. И вот ведут меня пешочком обратно на кичу. По бокам двое чекистов. А я иду, со свободой, с волей прощаюсь. Бензиновым дымком дышу. Курю папироски «Герцеговина Флор». На воробьёв смотрю и слушаю как они мне чирикают: «Кирдык! Кирдык»!

И Гулыга, вновь и вновь переживая, рассказывал, как его вели по вечернему городу, и вдруг он увидел впереди идущую девушку в беленьком платьице. И ветер доносил от неё слабенький запах духов. И через тонкую материю просвечивал лифчик.

Когда только рассказ дошёл до этого места, начало нарастать напряжение.

«А лифчик у неё какого цвета был – чёрный или белый?» – с замиранием сердца спросил кто-то из штрафников. Кажется, это был голос Швыдченко.

На него зашикали:

– Да какая тебе нахрен разница, какого он цвета? Слушай давай!

Швыдченко неприязненно огрызнулся:

– Вам хорошо, вы ещё и не нюхали, чем от бабы пахнет. А я уже пятый год...

Отделенный Павлов решительно оборвал его:

– Ещё раз голос подашь, вошь бельевая, пойдёшь в охранение сопли морозить!

А Гулыга вновь возвращался к лифчику, добавлял новые детали, останавливаясь, стараясь припомнить новые подробности о том, какие у девушки были волосы, как она встряхивала

головой, как оборачивалась назад, и какими глазами смотрела на него.

Его рассказ был правдой от начала и до конца. Эта правда всех покоряла. Поначалу он смущался и кое-что опускал, но потом привык и говорил уже о всех деталях с удовольствием.

Закончив рассказывать, Гулыга замолчал, потом похлопал себя по карманам. Швыдченко подал ему кисет. Гулыга заскорузлыми пальцами развязал расшитый узорами кисет, достал сложенную гармошкой бумагу.

Жёлтые пальцы с порыжелыми ногтями насыпали на мятую бумажку табак. Свернул толстую самокрутку, склеил языком, и тут же Швыдченко поджёг ему спичку. Потом крутанул раза два тесемкой-завязкой.

Кто-то из штрафников хмыкнул.

– На войне самое паршивое – это мины, вши и отсутствие курева.

Гулыга исподлобья глянул на Швыдченко.

– Что, сука?! – выдохнул сдавленно, почуяв, что кругом все затаились и ждут.

Швыдченко стоял пристыженный и растерянный.

– Так там, Никифор Петрович, всего и осталось-то на две закрутки.

– Ну, потолкую я с тобой... Курево на общак!

Швыдченко недовольно кинул кисет на стол.

– Давай налетай, у кого совести нет!

Через несколько минут кисет вернули. Пустым.

В зыбком сумраке землянки густо клубился сине-сизый махорочный дым.

Лученков допил кипяток из консервной банки, заменявшей кружку, снял гимнастёрку, разложил её вместе с портянками под собой на нарах, чтоб подсушились, влез руками в шинель, натянул на голову шапку и почти сразу задремал, слыша сквозь сон, как кто-то из пополнения пытается сержанта Павлова. Он был кадровый, ломал уже вторую войну. В штрафную попал после того, как вышел из окружения.

– Степаныч, а правда, что немцы боятся штрафников?

Павлов вздохнул. В полумраке землянки были заметны белки его глаз.

– Я думаю, что немцам глубоко плевать, кто на них идёт в атаку. Им какая разница, кого косить из пулемётов. Пуле ведь всё равно, кто перед ней: штрафник или не штрафник?

У нас злость, потому что нечего больше терять.

А немцы воюют грамотно. Потому у них и потерь в разы меньше.

Но ты смотри. Я тебе этого не говорил. Здесь тоже стукачи не дремлют. Здесь и даже больше, чем в обычных частях. Ты чихнёшь, а особист уже знает.

Лученков и сам знал, что в обмен на прощение грехов в роте вполне может найтись человек, который согласится стучать оперуполномоченному «Смерш» Мотовилову. Хотя бы тот же Швыдченко, мечтающий вырваться из штрафной и выжить.

Как сквозь вату слышались голоса:

– Ну да, на передовой хитрецов тоже хватает. Все хотят выжить. Вот Мамай, из прошлого пополнения на что уж дерзкий был вор, а решил схитрить. Во время атаки спрятался, а снаряд, возьми, и угоди туда.

Снова голос сержанта Павлова.

– Да-а... На войне всегда трудно угадать, где напорешься, а где пронесёт. Потому и не угадывай. Не хитри. Все равно война хитрее тебя. Её не перехитришь. На войне всем страшно. Природу не переделаешь.

Вы вот что. Есть такая старая солдатская придумка. Если кому-то станет страшно – пошевели пальцами на руках. У меня было как-то раз, по молодости, ещё на Халхин-Голе... Вспомнил и пошевелил... Надо же, и страх ушёл, и рот до ушей... На нас танки прут, а у меня улыбка, как у дурачка деревенского...

Лученков ещё успел улыбнуться своим мыслям, и провалился в сон.

* * *

Блиндаж командира штрафной роты за позициями штрафников. Скорее не блиндаж, а самая обыкновенная землянка – временное полевое пристанище на несколько дней. Минимум удобств, вместо брёвен в три наката, крытая всяким хламом крыша, с тонким слоем земли наверху.

Бойцы разобрали остатки кузова разбитой полуторки. Из этой же полуторки и еще с двух-трех разбитых грузовиков выломали, сняли уцелевшие дверцы, листы жести с капотов. Сверху замаскировали пластами дерна.

Вместо двери на входе приспособили плащ-палатку. В центре светилась красным жарко натопленная печка-буржуйка, переделанная из молочного бидона. Мерцающие отсветы сменились

постоянным белым жаром, печка гудела, стреляла смолистыми угольками, горячее тепло поползло волнами по землянке.

В узкую дверь землянки, задевая плечами полог палатки, протиснулся командир роты капитан Половков.

У печи на чурбаке, заменявшем табуретку, сидел тридцатилетний татарин Хусаинов, исполняющий обязанности ординарца.

Улыбаясь своим мыслям, он заталкивал в печку дощечки от разбитого снарядного ящика. Хусаинов – худой, тонкий и внешне похож на разгильдяя – был обут в немецкие трофейные сапоги, из-под телогрейки торчал воротник немецкого кителя, надетого для тепла.

Увидев командира, сделал попытку встать.

– Товарищ капитан...

Половков махнул рукой:

– Да сиди уж!

Он знал обманчивость первого взгляда. В роте не было человека отчаяннее и надёжнее Хусаинова.

– Фу ты чёрт! Промёрз до костей!

Капитан протянул к краснеющей боками печке замёрзшие руки. Несколько раз сжал-разжал пальцы, наслаждаясь теплом.

Согревшись, он расстегнул командирский ремень, скинул с плеч двойную португую, кобуру с ТТ, снял потрёпанную и выдавшую виды шинель.

– Не слышно, когда в наступление, товарищ капитан? – спросил ординарец с напускным равнодушием.

– А ты куда-то торопишься? – Половков сел на тяжёлую скамью, рядом с печкой. С наслаждением пододвинул к теплу отёкшие и застывшие ноги.

– Тебе-то чем плохо в обороне, Хусаинов? Сыт, нос в табаке, в тепле опять же.

Хусаинов молчал, сосредоточенно глядя на потрескивающую печурку.

– Да как вам сказать, товарищ капитан. Не люблю ждать. Ожидание всегда страшнее смерти.

Капитан свернул самокрутку, прикурил от уголька из печи.

– Ну тогда радуйся. Уже скоро.

Капитан затянулся. Вместо махорки все курили ядрёный самосад. Цигарка потрескивала, бумага вспыхивала, и тогда Половков прижимал огонёк наслюнявленным пальцем.

Накурившись и затоптав окурочек, командир роты достал из нагрудного кармана гимнастёрки часы, трофейный брегет. На-

жал на пружину, с щелчком откидывая крышку. Взглянул на тоненькие чёрные стрелки.

– Теперь скоро! Если быть точным, то через десять часов и пятнадцать минут. Ещё вопросы есть?

Обескураженный холодной вежливостью ротного ординарец пожал плечами:

– Да нам татарам всё равно! Что стрелять, что резать. Лишь бы кровь была!

Ротный, поднявшись, взял шинель. Привычными движениями набросил на плечи портупею, застегнул ремень, сдвинул на место кобуру. Сказал без досады, но весомо:

– Ну если тебе всё равно, и вопросов нет, тогда я пойду! Ты подсуеешься насчёт жратвы, потом будет некогда, – сказал он.

Командир роты приподнял полог плащ-палатки, вышел в траншею. Пригнувшись, чтобы не стать мишенью для снайпера, двинулся в сторону позиций штрафников.

* * *

В невысоких окопах было тесно – штрафники прижимались к стенам, стараясь сохранить тепло, прятали шеи в воротники шинелей.

Немцы каждые пятнадцать минут бросали осветительные ракеты. Рваные изломанные тени скользили по брустверу окопа, заползали в ячейки, озаряли хмурые лица штрафников, винтовки, сброшенные каски, ряды гранат и котелков, выставленные в отрытых нишах.

Ротный лежал на бруствере, по привычке покусывал конец сыромятного ремешка каски. Ремешок на вкус был кисловато-горький. Пахнул дёгтем, сыромятной кожей.

Эти запахи напоминали запахи колхозной шорной, где он любил проводить время в детстве.

В сгущающихся вечерних сумерках Половков пытался разглядеть в бинокль вражескую оборону. На нейтральной полосе лежало несколько обглоданных трупов лошадей, чёрный остов сгоревшего грузовика и полугусеничного бронетранспортера. Это был результат недельной атаки. Два подбитых танка немцы ночами утащили к себе.

Шевеля губами, ротный высчитывал, сколько метров рота сможет скрытно проползти на брюхе.

Получалось немного. Принимая во внимание отсутствие навыков скрытого передвижения у основной массы штрафников,

частоту запуска осветительных ракет вряд ли больше ста метров. Потом бегом. Под кинжальным огнём пулемётов. Мда-ааа! Ситуация!

Половков шевелил губами, словно шептал или молился.

Через цейсовские стёкла смутно проглядывали заросшие бурьяном межи на поле, неровные брустверы окопов.

Немецкая траншея шевелилась, жила своей жизнью. Высовывались каски, торчали стволы пулемётов. Немцы сноровисто, как муравьи, сновали по траншее, выбрасывали на бруствер обрушившуюся землю, укрепляли стенки окопа, рыли ячейки. То тут, то там взблёскивало оружие, мелькали лопаты, темнели полосы свежей земли.

Не отрывая от глаз бинокль, Половков поворачивал пальцами окуляры – сначала в одну, а затем и в другую сторону, отыскивая наилучшую видимость.

Перед его глазами порывистый ветер клонил набок стебли сухой полыни, заполняя окрестности заунывными звуками близкой смерти.

Рядом в рваной, рыжей телогрейке стоял связной Печерица, переступал с ноги на ногу, согревая, втягивая пальцы рук в коротковатые рукава замызганной телогрейки.

Половков опустил бинокль и приказал Грачёву, поджидавшему его в окопе:

– Командиров взводов ко мне в блиндаж! Живо!

– Есть!

Обдирая и обрушивая шинелью стены узкой траншеи, ротный быстро пошёл к землянке, куда уже подтягивались офицеры роты.

* * *

Через пару часов в наскоро отмытых от бензина металлических канистрах принесли спирт. В них была «наркóмовская норма» – узаконенные Верховным сто грамм водки перед атакой.

Это была та мера милосердия, которую Родина в те страшные дни могла отмерить своим защитникам, идущим на смерть.

В окопы пришёл командир роты. Засел в блиндаже у старшего лейтенанта Васильева.

Взводный воевал давно и своей рассудительностью, умением беречь подчинённых вызывал уважение. Он не суетился

перед начальством, был независим в суждениях, командовал чётко и всегда по делу. Половков назначил его своим заместителем, хотя и часто одёргивал его за излишнюю категоричность.

Первым прибежал младший лейтенант Голубенко.

Зашуршала плащ-палатка, и в землянку потёк холод осеннего рассвета. Голубенко у порога принялся сбивать грязь с сапог. Не поднимая головы, Половков раздражённо бросил:

– Май месяц тебе что ли? Давай заходи!

Голубенко боком протиснулся в дверной проём.

Он был совсем не командирского вида, щуплый, в новенькой, ещё необмятой шинели. В роте был всего лишь третий день. Только что выпустился из училища.

Предыдущему командиру взвода кто-то во время боя выстрелил в спину.

Такое бывало нечасто, но случалось. Штрафники совсем не были агнцами божьими. Если офицер вёл себя, как последняя тварь, беспричинно стреляя тех, кто ему не нравился, то шансов получить пулю от подчинённых у него было немало. Могли и в карты проиграть. Что поделать – публика была оторви и брось!

Голубенко начал докладывать звонким детским голосом:

– Товарищ капитан, младший лейтенант...

Чувствовалось, что он волнуется, но старается не показать волнения. На него было приятно смотреть. Руки по швам, слегка сжаты в кулаки. Воротник гимнастёрки застёгнут.

Командир роты сухо оборвал:

– Та-ак... Садись, лейтенант!

Вскоре явились командиры второго и третьего взводов. Они почти ровесники, с разницей всего в пару лет и были похожи друг на друга, как сиамские близнецы. Аккуратно перетянутые ремнями, с аккуратно пристёгнутыми погонами, с планшетками на боку, они друг за другом проскользнули в блиндаж. Доложили лаконичной скороговоркой:

– Товарищ капитан, младший лейтенант Привалов по вашему приказанию прибыл.

– Товарищ капитан, лейтенант Степанцов...

В черной от копоти печурке звонко потрескивали дрова.

В полуприкрытой металлической дверце полыхало пламя, бросая оранжевые отблески на лица собравшихся офицеров.

Командир роты молча выслушивал скороговорку, курил, смотря на бушующее в печи пламя, бесстрастно кивал головой, рукой давал знак садиться.

Взводные в штрафной роте подобрались надёжные. Половков уже знал это.

Выслушав доклад Степанцова, ротный в последний раз затянулся папиросой и, сунув окурочок в оранжевую щель, повернулся лицом к офицерам.

– Ну что ж... Кажется, все собрались. Агитаторов взводов я не приглашал. Им поставите задачу самостоятельно.

Сидящий в углу землянки Хусаинов поигрывал трофейным ножом, монотонно втыкая его в крышку снарядного ящика.

Из открытой дверцы выскочил уголёк. Упал под ноги Голубенко. Тот, смущаясь, наступил каблуком на чадящий уголёк. В блиндаже потянуло дымком.

Половков вздохнул и встал, едва не задев макушкой прокопчённый бревенчатый потолок землянки.

– Товарищи офицеры. Завтра в пять часов утра атакуем немецкие позиции. Получено боевое распоряжение из штаба армии. Наша задача, атаковать на этом участке передовую линию немецких окопов.— Половков ткнул пальцем в карту. – Прорвать оборону, занять первую и вторую линию и удерживать до подхода второго эшелона. Ваши соображения?

В блиндаже притихли. Голубенко побледнел и сглотнул слюну. Торчащий кадык на его шее судорожно дёрнулся. Степанцов вздохнул. Привалов молча расстегнул крючок шинели.

Узкое лезвие с силой воткнулось в снарядный ящик.

– Если артиллерия поработает, то возьмем,— С уверенностью проговорил Васильев, нашаривая в карманах широких ватных брюк папиросы.

– Наступаем без артподготовки!— жёстко сказал Половков.— На это и расчёт. Немцы перед рассветом сонные, атаки не ждут. Расчёт на внезапность.

– Не на внезапность, а на хапок,— пробубнил Васильев. Он сунул в печку сухую щепку, вынул и прикурил от охватившего её пламени.

– Тогда попомните моё слово, – вздохнув, он выпустил широкую струю дыма.

Все повернулись к нему.

– Положат нас завтра всех. В штабе, как всегда, экономят на снарядах, рассчитывая обойтись штрафниками! А нам рассказывают про внезапность! Дай Бог если повезёт, и утром опустится туман.

Это уже было чересчур. Споры с подчинёнными не входили в планы командира роты. Такие разговоры не способствовали поднятию дисциплины, и капитан сказал с твёрдостью:

– Попрошу воздержаться от дискуссий! Приказ надо выполнить! Любой ценой.

Голубенко молча кивнул, Степанцов неопределенно пожал плечами, а сидящий у входной двери Привалов потянулся за кисетом с табаком.

– Чего молчишь? – повернулся Половков к Васильеву.

– Я уже всё сказал, – тихо и внятно проговорил взводный. Его широкое скуластое лицо, высвеченное бликами оранжевого пламени, казалось угрюмым.

– Вот завтра мы и заплатим по полной. А за ценой не постоим! Заодно натанцуемся и наплачемся! Ладно!.. Как говорит наш контингент, будем надеяться на три вещи – авось, небось и фарт.

Ротный хлопнул ладонью по столу. Все разом смолкли, стало тихо. Половков вынул из кармана часы. Коротко, зло, пресекая любые возражения, объявил:

– Значит так. Как говорил легендарный комдив Василий Иванович Чапаев, на всё, что вы тут наговорили – наплевать и забыть. Диспута не будет. На войне у каждого свой приказ, свой рубеж, своя мера ответственности.

Щёлкнул крышкой часов.

– Сверим часы. Без трёх минут девять. Идите к своим взводам. Ждите дополнительных указаний.

* * *

Медленно отступала ночь. Над израненным полем рассеивался предрассветный туман.

В траншее было полно людей. Штрафники молча стояли группами, подняв воротники мешковатых шинелей и отвернувшись от холодного ветра. Люди в насунутых на пилотки касках, сидели на корточках, нянча винтовки в руках. Прижимались друг к другу, стараясь согреться. В темноте светились красные точки самокруток.

Притащили ящики с гранатами. Их несли без энтузиазма.

Капитан Половков в эту ночь так и не прилёт. Вместе со старшиной обходил взводы, проверял наличие боекомплекта и снаряжение.

Лученков увидел на плече ротного ППШ. На боку висела брезентовая противогазная сумка, из которой выпирали кругляки запасных дисков.

Коротковатая защитного цвета телогрейка была туго перепоясана офицерским ремнём, на котором висели нож и кобура ТТ.

Значит, ротный пойдёт вместе со своей ротой.

Половков узнавал знакомые лица, кому-то ободряюще кивал. Отдавал распоряжения:

– Клепиков, пулемёт возьмёшь!

Клёпа тут же метнул из рукава в рукав колоду.

– Обижаете, товарищ капитан. Он всегда со мной!

Половков матюкнулся.

– Вот дал господь бойцов, мля! Одни карты на уме. Отставить пулемёт. Винтовку возьми! Увижу, что в бою менжанулся, уничтожу как класс. Не посмотрю, что вор!

Повернулся к крепкому низкорослому сержанту с рябоватым лицом

– Шабанов, на пулемёт!

– Есть, товарищ капитан!

– Гулыга, держись рядом со своим архаровцами. Отвечаешь персонально за каждого. Спрошу с тебя!

– Без базара, командир!

– Шматко, застегните подсумок. Потеряете патроны!

Половков шёл дальше.

– Всем проверить оружие.– Солдаты расступались, и ему казалось, что вот оно фронтовое братство и совсем не важно, что он офицер, а они штрафники. Главное было в том, что они верили ему и готовы были за ним идти на смерть. Ощущение предстоящего боя, запах опасности и возможной смерти будоражили кровь и пьянили.

Взводный Васильев бережно, аккуратными затяжками добивал папиросу и говорил Голубенко:

– Ты не ссы, Саня, что кругом штрафники. Это у нас Мотовилов любит нагнать жути, мол – золотая рота, мрази, клейма ставить на них негде!

Васильев закашлялся, сплюнул на землю жёлтую тягучую слюну.

– Да! У нас каждой твари по паре! Есть власовцы, дезертиры, сволочи! Но в основном попавшие по собственной дурости. Крали, чтобы выпить, а потом по пьянке на баб лезли. А в бою, если надо будет, и огоньком поддержат и выручат завсегда...

Голубенко, беря пример с опытного Васильева, сбросил шинель. На нём солдатская телогрейка, туго перетянутая кожаным офицерским ремнём. Ремень, предмет его особой гордости, генеральский. На пряжке вместо звезды герб СССР.

Васильев знает, что это подарок родного дяди. Он командует соседней дивизией, но Голубенко под его крылышком не спрятался.

На поясе у него, кроме кобуры с ТТ, сапёрная лопатка, четыре гранаты РГД, похожие на пузатые банки со сгущенной. За пазухой пара круглых дисков к ППШ. Еще по рожковому магазину в голенище каждого сапога. За спиной автомат.

У штрафников, кроме винтовок и трофейных автоматов на ремнях, ножи. Они имеются даже у тех, кто недавно прибыл с пополнением. Это, что-то вроде визитной карточки штрафника, его знака отличия.

Вообще зэки, они везде зэки. Они умудрялись доставать ножи и мастерить их из каких-то железок. И рукояти делали не простые, а наборные, в три цвета – белый, черный и серый. Из чего? Кто его знает.

Голубенко было не по себе. Это его первый бой. Конечно же, страшно. Страшно даже не умереть, а струсить, опозориться в бою.

Немцы, похоже, чувствовали себя в безопасности. С определённым интервалом пускали осветительные ракеты.

К утру ракеты взлетали уже реже, а потом и вовсе перестали чиркать небо. И сразу всё потонуло в стылой мгле. Только лишь небо сияло над этой морозной мглой, подсвеченной холодным сиянием Млечного Пути. В тёмном небе светились высокие, холодные звёзды. Далёкий нереальный мир, где нет никакой войны. Идиллию нарушал лишь немецкий пулемет, который периодически лупил длинными злыми очередями.

В уши лез голос Васильева.

– Но боже тебя упаси, кого беспричинно ударить. Люди попадают всякие. Один стерпит, а другой в спину шмальнёт. Им терять нечего, что так погибель, что так смертушка... Так что если ты кого и наказываешь, то за дело! Понял меня?

В этот момент впереди взмыла осветительная ракета, её трепетный неровный отсвет прошёлся по лицам бойцов, которые с пугливой осторожностью сжались в окопе.

Ракета погасла, колыхавшийся в вышине сумрак сменился плотной ночной темнотой.

Лученков присел рядом с Гулыгой, уперев локти в колени и опираясь спиной на стенку окопа. Клёпа опустился напротив них на корточки. – по-арестантски. Помолчали. Потом Клёпа закурил и выдохнул вместе с дымом:

– Ну будет сегодня шухер!

Толкнул Лученкова, сунул ему в руку дымящийся окурочок.

Приползли разведчики. Они ловко соскочили с бруствера, протиснулись между бойцов и пролезли в командирскую землянку.

Там уже находилось всё командование роты, командиры взводов, офицеры-агитаторы. Было влажно от мокрых шинелей, темно, тесно. Несколько фигур в шинелях загораживали стол, за которым сидел капитан Половков. Заслышав шаги разведчиков, Половков поднял голову, нетерпеливо сказал:

– Докладывайте!

Офицеры расступились. Старший группы разведчиков доложил, что в немецких окопах всё тихо.

– Здесь и здесь, – показал он пальцем на карте, – впереди траншеи, на ночь выставляют боевое охранение: по пулемету МГ-42 и человек по семь немцев. Скрытно пробраться можно вдоль ложбинки. Она подходит как раз почти к траншее. Ну, а потом – в ножи. Как только ракета погаснет. Пару секунд немцы ничего не будут видеть.

* * *

Перед самым рассветом Лученков попытался заснуть, сидя у стенки траншеи. Мимо постоянно шлялся народ, задевал, кашлял, звякал, гремел котелками. Заснуть было невозможно. Только он отключался, как кто-нибудь его бесцеремонно толкал.

Узкий луч фонарика ударил ему в лицо. Протёр глаза, перед ним стоял отделенный.

– А?.. Чо?

– Вот держи.

Сержант сунул ему в руки две похожие на консервные банки гранаты с запалами.

В темноте траншеи разливали по кружкам и котелкам разбавленный спирт. В морозном воздухе висел щекочущий ноздри густой водочный дух. Норму не отмеряли. Пожилой старшина просто зачерпывал из фляги черпак, спрашивал:

– На скольких лить? Двоих? Трoих?

Щедро плескал в подставляемую посуду воняющий бензином спирт, вздыхал.

– Эх, сынки, сынки! Может быть, в последний раз!

– Пошел ты к черту! – матюгнулись сразу несколько голосов. Штрафники жадно глотали, занюхивали рукавами шинелей. Кто-то из пошутил:

– Ничего, скоро у фрицев сосисками закусим!

Послышался голос Клёпы,

– Ага, и прикурить тебе фриц тоже даст!

Самые предусмотрительные не закусывали, сворачивали самокрутки.

– Закуска, градус крадёт!

Опытные бойцы как огня боялись ранения в живот. Солдатская молва говорила, что если в желудке есть еда, то это верная смерть.

Но спирт почему-то не брал...

«Господи, милость твоя безгранична. Спаси и сохрани, Господи!» – Выдохнул из груди сжигаемые спиртом слова Лученков. Черты лица его сморщились, рот открылся.

Клёпа атеист. Проглотив свою норму, снова встал в очередь.

Гулыга покосился на него.

– Не многовато ли будет, Миха?

– В самый раз. Клёпа норму знает!

Гулыга оскалился.

– Смотри мне, нормировщик. Я за тобой палить буду почище вертухая. Если при замесе вздумаешь лечь поспать, так я тебя пером разбужу. Усёк?

Протянул старшине кружку.

– Ну-ка плесни и мне... – медленно выпил и вдруг длинно, тяжело выматерился. Помолчал. Затянулся самокруткой.

– Ладно, когда преступный мир дешёвым был?! Пойдём, повоюем!

Никифор Гулыга в роте пользовался уважением. За своё умение драться, нежелание никому ничего прощать, за свою прошлую жизнь. Трижды судимый, битый, дерзкий. Злой на советскую власть, на красных генералов, на немцев.

В траншее уже слышался смех, оживлённые разговоры.

– Э-ээх, хорошо! Сейчас бы ещё гармонь и к девкам!

– А у нас в деревне после пьянки завсегда драка!

– Ну драку тебе сейчас фашист устроит!

– Да мы ему б... кишки выпустим!

И вновь над солдатскими траншеями пролетели архангелы смерти.

* * *

Перед атакой прислали из медсанбата санинструктора Зою. Она черноглазая, бойкая и крикливая.

Одета в старую поношенную телогрейку и кокетливо сдвинутую набок шапку. На плече парусиновая сумка.

Зойка девка была хорошая, добрая, многих не только офицеров, но и солдат облагодетельствовала своим женским вниманием.

– Тебе лучше остаться здесь. Там сегодня будет каша! – сказал Половков.

Санинструктор стояла рядом с ним, выпрямившись во весь свой небольшой рост, её сумка съехала на живот.

– Не поняла вас, товарищ капитан, – сказала она неожиданно хриплым голосом и поправила сумку. – У меня приказ и инструкция оказывать первую помощь раненым на поле боя.

– Ну как знаешь – угрюмо сказал Половков и повернулся к командиру первого взвода. – Ты присмотри за ней, Васильев. Чтобы не лезла на рожон.

Тот молча козырнул, вышел из блиндажа.

* * *

Через час разведгруппа из блатяков вырезала немецкое боевое охранение. В небе вспыхнула красная ракета – сигнал к атаке.

Штрафная рота выползала из окопов. Трое бойцов из взвода Голубенко никак не могли выбраться из траншеи.

В траншее размахивал пистолетом и метался вмиг озверевший ротный, помогая замешкавшимся пинками.

Без артподготовки, без единого выстрела поползли к нейтральной полосе. Слышались только бряцанье оружия, шуршание ползущих тел и хриплое дыхание двух сотен глоток.

Остались позади поваленные столбы с кусками оборванной ржавой проволоки, залитые водой, полуобвалившиеся окопы. Уже за спиной оказался закопчённый остов полуторки.

В рваных клочьях тумана вспыхнула осветительная ракета.

При неживом, мёртвенно-белом свете Лученков увидел, что лицо у взводного затвердело, губы были сжаты, из глаз ушла хмельная муть. Страх и опасность отрезвили.

Ракета опускалась медленно, на маленьком парашюте. Погасла.

Понимая, что дальше ползти нельзя, их обнаружат при следующей ракете, и насколько опасно сейчас промедление, Васильев захрипел:

– Вперё-ёёёёд!

Штрафники, неохотно поднялись на негнущихся ногах. Сначала пошли, потом несмело побежали, пригнувшись к земле. Но уже через секунду топали, как стадо слонов, утробно хекая и загнанно хрипя.

Они бежали молча в телогрейках и длинных нескладных шинелях с вещмешками за спиной.

В первый день нахождения на фронте им всем объяснили основной закон на войне. Как можно быстрее убить врага. Не получится убить его – он убьёт тебя.

Поэтому все они хотели только одного. Чего бы это не стоило – добежать и успеть вцепиться в глотку врагу.

Задыхаясь, рота выбежала из-за пригорка на открытый склон, когда-то бывший колхозным полем.

Неохотно разгораясь, взлетела осветительная ракета.

Из белёсого тумана высовывалась опоясанная окопами высотка. Вдоль немецкой траншеи над бруствером торчали, шевелились каски, стволы винтовок, короткие дула автоматов.

И только тогда штрафники завыли, заматерились.

Поднявшийся ветер понёс вперёд страшный, тоскливый и одновременно злобный вой, подхваченный множеством глоток.

– У-уууу-й! У-уууу!!! Мать, мать, мать, перемать!

Лученков бежал, держа в руках перед собой пахнущую смазкой винтовку, с тускло мерцающим жалом штыка. Впереди мелькнула спина в ватнике, перехваченном офицерской портупеей. Это его обогнал кто-то из командиров взводов. Позади – приглушённый топот сотен ботинок по мерзлой земле.

В то же мгновение с немецкой стороны донесся короткий вскрик:

– Фойер!..

Немецкие шестиствольные минометы дали залп. На флангах ударили немецкие МГ-42.

Пулемет М-42, называемый «косторезом» с лентой в пятьсот патронов и бешеным темпом стрельбы – почти полторы тысячи выстрелов в минуту – страшное оружие. Он выкашивал всё живое на расстоянии одного километра.

Предраассветные сумерки густо прошили натянутые нити пулемётных трасс. Очереди были длинные в половину ленты. Ду-ду-ду! Ду-ду-ду! – несло со всех сторон.

Вновь взлетела ракета, и вспыхнуло алое зарево.

Штрафники продолжали бежать. Кто-то, не целясь, палил на ходу из винтовки, торопливо передёргивая затвор.

Другие, не слушая команд, метались под градом осколков и пуль, пытались укрыться в редких кустах, но падали и падали под вражеским огнём.

Тех, кто бежал в передней цепи, смахнуло, покатило по откосу.

На земле остались лежать убитые. Их ватные телогрейки, словно подбитые птицы застыли на стерне.

При свете догорающей ракеты Лученков увидел, как оставшиеся в живых ползли по грязной земле, прижимаясь к ней и моля о защите. Люди ползли к воронкам, вжимаясь в каждую крохотную складку земли.

Над головой свистели пули – цьююуу... цьююуу!.. Рвали сырой холодный воздух: юууть!.. юууть! И чмокая, впивались в человеческие тела.

Атака захлебнулась.

Оставшиеся в живых штрафники залегли, судорожно окапываясь.

Пули били в рыжие комочки шинелей и телогреек.

Успевшие спрятаться кое-где шевелились, кашляли и матерились.

Лученков упал на землю, кубарем скатился в воронку, забиваясь в какую то щель. Прямо перед воронкой запнулся и осел на землю сержант Шабанов. Выронил пулемёт из рук, медленно завалился на бок. Потом скорчился клубком, подтянул к животу колени.

Немецкие пулемёты, перебивая друг друга, захлебывались очередями.

Пули стригли редкие стебли пожелтевшей полыни, свистели над головами, добивая тех, кто шевелился.

Дёрнулся и затих пожилой боец в прожжённой во многих местах телогрейке. Ткнулся лицом в землю штрафник в немецкой каске. Вот мина попала в воронку, и взрыв накрыл несколько спрятавшихся там бойцов.

Бывший вор Монах притворился мёртвым, долго терпел, потом пополз, волоча перебитую ногу. Очередь ударила в вещевой мешок. Полетели лохмотья, звякнул пробитый котелок, а следующая очередь прошила тело.

Лученков плохо помнил первые минуты боя. В утреннем тумане мелькали вспышки выстрелов, силуэты грудных мишеней, как на стрельбище.

Все патроны в магазине он расстрелял, торопливо дергая затвор и не успевая толком прицелиться. Впопыхах не заметил, что магазин опустел, и на очередное нажатие спускового крючка винтовка отозвалась сухим щелчком.

Стало так страшно, что свело живот. Ну вот подумал он, сейчас обделаюсь. И тут вспомнил Павлова. Посмотрел на свои грязные пальцы. Пошевелил ими, словно перебирая невидимые клавиши, и заулыбался.

Наверное, очень страшной была эта улыбка. Неестественной. Как маска.

Лученков огляделся по сторонам, подполз к мёртвому сержанту. Подобрал валяющийся рядом с ним трофейный пулемёт «Зброевка».

Горло пересохло. Страшно хотелось пить.

Попытался снять с ремня убитого алюминиевую фляжку, но мёртвое тело прижало ремень, и расстегнуть его не удалось.

Потом он лежал в небольшой воронке, оглядываясь по сторонам и жадно хватал ртом воздух. Струйки пота заливали ему глаза, и он вытирал их грязным рукавом телогрейки.

Мелкие комья земли приглушённо стучали по каске. От обстрела его слегка прикрывал труп погибшего сержанта.

В воронку свалился связной Печерица с разорванным рукавом фуфайки.

Рядом на живот плюхнулся ротный. Заорал, повернув к Лученкову перекошенное лицо.

– Какого хрена сидишь?! Стреляй, твою мать!

Лученков успел дать по немцам одну очередь, и тут же в землю перед ним впилась пуля. Понял – работает снайпер.

Командир роты толкнул в плечо Печерицу. Тот повернул к нему своё закопчённое лицо.

Как всегда, когда на него повышали голос, в блёклых глазах этого уже немолодого человека появилась молчаливая и робкая покорность.

Уголки губ вздрогнули, брови сомкнулись – он явно терялся перед грубостью.

– Сейчас бежишь к лейтенанту Кривенко и говоришь, чтобы он накрыл этого грёбаного снайпера из миномётов. Понял?

Лученков буквально почувствовал, как вздрогнули плечи Печерицы.

Представил себе, что будет дальше. Сейчас тот начнёт тянуть время. Снимет сапог и заново наматывает портянку. Нельзя же бежать со сбитой портянкой! Потом подтянет ремень и плотнее натянет ушанку. Посмотрит на капитана умоляющими глазами, в надежде на то, что он отменит свой приказ.

Глядя на это, ротный повторит команду, сопровождая её матом, клацнет затвором автоматом, и солдат побежит вперёд.

Но Печерица молча теребил ремень винтовки, потом выдохнул с тоской:

– Не пройду я... командир. Снайпер... сука!..

Несколько мгновений Половков смотрел ему в глаза. Перед ним был обыкновенный русский мужик. В рваной и прожжённой телогрейке, вислозадых ватных штанах и разбитых сапогах. Бу-

кашка, человек-нуль, с которым жизнь всегда делала всё, что хотела.

– Я приказываю!

У Печерицы дёрнулся кадык – он побледнел и, пригнувшись, побежал вдоль насыпи. Лученков прижал к плечу приклад пулемёта, прикрывая связного.

Прозвучал выстрел. Пули выбила фонтанчик земли прямо перед ногами Печерицы.

Он упал, пополз. Новый выстрел ждал недолго. Снайпер не выдержал искушения. Выстрелил. Пуля пробила каску и голову. Печерица ткнулся носом в холодную землю.

Лученков успел заметить вспышку от выстрела. Тут же ударил по ней очередь из пулемёта.

Волоча за собой пораненные руки и ноги, и волоча винтовки, ползли легкораненые. Кто-то, надеясь, что ему помогут звал санитаров, кто-то истошно, зло матерился и лихорадочно загребал руками, стараясь как можно скорее укрыться в ближайшей воронке или своей траншее. Кому не досталось пули, завидовали легкораненым. Их, смывших вину кровью, ждали госпиталь и направление в обычные части. Раненых в следующую атаку не погонят. Но нужно было еще доползти до своих и дожить до тылового лазарета.

Следом за ранеными, тесно прижимаясь к земле, поползли в свои траншеи и несколько человек из наступавших. Залегли в воронке.

Уже заметно рассвело. Повсюду шла стрельба. Визжали мины. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные ямки. Осколки визжали, кружились, будто примеряясь, куда упасть.

Земля непрерывно содрогалась и стонала от взрывов.

Необстрелянные штрафники метались по воронке, пытались спрятаться от осколков.

– Чего дергаетесь? – раздался хриплый голос. – На меня смотрите. Пока я спокойно сижу – не бойтесь. А вот когда мой зад перед глазами мелькнёт – вот тут надо поторапливаться! Ясно?

Лученков поднял голову. На дне воронке сидел Павлов, грязными пальцами сворачивал самокрутку. Глеб лишь кивнул головой.

В воронку продолжали сыпаться комья земли. Мины падали с полчаса.

Штрафники вяло переговаривались:

– Вот епть! Вляпались мля!

– Фули сидим? Надо вперёд, а то закидают минами!

– Ага, давай! Беги, если жить передумал! Там же и ляжешь!

Половков понял, что атака сорвалась. Теперь взводным легче было поднять мертвых.

– Прохлаждаетесь?! – прохрипел он, подбегая. — Боевые товарищи гибнут, а вы блох давите?! В бога душу...

Штрафники молчали.

– А ну вперёд!– закричал ротный, срывая голос.– Пристрелю! Вперёд!

Держа в руках автомат, поискал кого-то мутными глазами. И вдруг закричал остервенело, жилы на его шее напряглись:

– Встать, сучьи дети! В божину Христа, Господа бога мать! – Он пинал залёгшую цепь сапогами и стрелял над головами, не особо заботясь о целостности черепов подчинённых.

Гулыга натянул на глаза каску.

– Хрен мы, ребята, угадали. Полежать сегодня вряд ли удастся!

Лученков увидел, как он встал, подхватил с земли винтовку и крикнул, повернув к лежавшим злое потное лицо:

– Ну что, воры? Когда преступный мир дешёвым был? Вперёд! В рот пароход!

Появилась мешковатая фигура старшего лейтенанта Васильева в разорванной на спине телогрейке. Штрафники услышали его мат.

Поняв безысходность своего положения, кто отчаянно матерясь, кто просто молча стиснув зубы, стали подниматься. Потом рванули вперёд.

Это был отчаянный бросок навстречу собственной гибели. Трудно было уцелеть под таким огнем. Разрывы мин гроыхали справа и слева от бегущей и кричащей толпы штрафников. Разрывы оглушили и выкосили половину.

В это же самое время Половкова сильно ударило в правую ляжку. Нога онемела, как от судороги, и по штанине потекло что-то горячее.

Нужно было остановиться, осмотреть и перевязать рану, но Половков знал, что если остановится, то уже не сможет идти. Атака без него захлебнётся.

И он бежал, припадая на правую ногу, бежал и рычал, как раненый зверь. Рядом с ним бежали его штрафники, его золотая рота, штрафная мразь.

Внезапно у него кончились силы, и капитан Половков упал.

Но штрафники уже были перед линией окопов и швыряли гранаты.

* * *

Разгорелась ожесточённая рукопашная схватка. Во всеобщей сумятице слышались хрипы и мат-перемат.

Во второй половине войны в штыковые атаки практически уже не ходили. Но в штрафных ротах штыки, ножи и сапёрные лопатки применялись часто. Штыковая атака – конёк штрафников. Их козырная карта, которую они напоследок держали в рукаве. Немцы знали, что смертники не боятся ран и увечий. Ранение было для них условием освобождения и реабилитации. Свою вину они должны были смыть кровью, неважно чьей, вражеской или своей.

Но рукопашная схватка – страшная штука. Обоюдно страшная. Стрелять издалека легче, чем резать человека ножом или бить его в лицо сапёрной лопаткой.

В мясорубке рукопашной часто не оставалось ни победителей, ни побеждённых, а были только обезумевшие, рвущие друг друга в клочья люди.

Для того чтобы выжить самому, бить человека ножом в живот, лицо, грудь... Видеть его глаза, его кровь. Слышать его крик...

Ещё неизвестно, что страшнее: Понимать, что сейчас враг убьёт тебя. Или знать, что сейчас должен убить ты. Видеть ненавидящие глаза незнакомого тебе человеку.

Оставшиеся в живых возвращались из боя, из атаки подавленные и безучастные ко всему. С пустыми глазами. В состоянии протрации. Не реагируя на боль от полученных ран.

Были случаи, когда после боя люди сходили с ума.

Штрафники, обзлётные большими потерями, шли напролом и наконец-то дойдя до немецких окопов зарычали, захрипели, захлебнувшись кровью и рвотой рукопашного боя.

Гулыга рванул и влетел прямо в середину мешанины человеческих тел. Он что-то кричал и резал, кромсал ножом чьи-то лица, руки, животы. Ему в лицо ударил фонтан крови из чьей-то перебитой сонной артерии, и он, размазывая по лицу солёную липкую кровь не понимал, чья это кровь, его собственная или человека, которого он убил.

Руки были осклизлые и липкие.

У Лученкова в пулемёте закончились патроны. Он подхватил чужую винтовку с примкнутым штыком.

Прямо на него бежал долговязый немец в каске, надвинутой на глаза.

Серо-зеленая шинель была расстёгнута, и полы, тёмные от воды, развевались широко и размашисто. Всё в нем было крепко и несокрушимо-основательно.

Солдат бежал прямо на него. Прикладом карабина он прикрывал свой живот.

«Патронов в карабине нет, – понял Лученков. – Иначе бы стрелял».

Остриё штыка он нацелил ему в лицо. И только немец стал заносить приклад для удара, он сделал ложный выпад в голову. Немец дёрнулся инстинктивно. Лученков коротко ударил в живот. Штык вошёл неожиданно мягко, словно в подушку.

Немец на миг остолбенел, на его посеревшем лице тускло сверкнули глаза, застывшие от ужаса.

Из уголка оскаленного рта потекла струйка крови. Немец уронил автомат и ухватившись обеими руками за штык винтовки стал опускаться на колени.

– Да отцепись же ты, сука! – испуганно закричал Лученков, выдернул штык и побежал дальше.

Перед бруствером валялась целая куча ржавых консервных банок. Прыжок вниз. В немецкую траншею ввалилась орда перемазанных землёй, кровью, отчаянно матерившихся и воющих штрафников.

В тесноте окопной ямы перед Лученковым мелькнула спина, затянута в чёрные ремни солдатской портупей.

На ней ранец с рыжим лохматым верхом.

Немец убежал от него по траншее, под его сапогами чавкала грязная, вязкая жижа. Лученков догнал его в три прыжка, ударил штыком ниже ранца. Убегавший человек споткнулся. Упал. Почему то запомнились грязные потёки на его шее. Как у ребёнка, который не любит умываться. Глеб потащил на себя штык, застрявший в позвоночнике. Упёрся сапогом в спину, дёрнул.

Снова побежал вперёд.

Из-за какого-то выступа его встретили автоматной очередью. Лученков бросил за поворот гранату. Пробегая дальше, видел приваленные землёй руки, головы в пробитых касках, полы изорванных осколками шинелей.

У Гулыги вместо винтовки в руках уже немецкий автомат. За голенищем сапога немецкая граната – колотушка с длинной деревянной рукояткой.

Прямо перед ним в воронке притаился Швыдченко. Испуганно зыркнул на Гулыгу.

Тот открыл рот, полный железных зубов. Ткнул в спину стволом автомата.

– Чего смотришь на меня, как собака!? Видишь, вон оттуда пулемёт садит! Бери гранаты и вперёд, отвлеки его на себя, а я со стороны подползу.

Швыдченко не подавал признаков жизни.

– Ползите вперёд, Александр! – голос Гулыги дрогнул. – Ползите, моё терпение не безгранично.

Косой шрам над глазом покраснел. Дублёная кожа на лице наоборот побледнела.

Швыдченко всхлипнул. Он не хотел умирать.

– А где гранаты, Никифор Петрович?

Гулыга наставил на него ствол автомата. Положил грязный палец на спусковой крючок.

– Где! Где! Вон, на поясе у тебя висят!

Заорал, соря пеной с губ и бледнея от ненависти:

– Вперёд, сучий потрох!

Тощий, с рыжей щетиной на щеках Швыдченко сплюнул неумеючи, приклеился грудью к замёрзшей земле и подхлестнутый криком пополз вперёд.

Он полз, глотая слёзы и сопли, проклиная свою непутёвую судьбу и себя за то, что месяц назад вышел из лагерного строя. Всё в его теле дрожало от страха и леденящего холода.

Хотелось вернуться обратно в барак, к жидкой баланде из рыбьих голов, пусть даже добавили бы ещё десять лет.

Впереди был немецкий пулемёт, а сзади трижды проклятый Гулыга с автоматом.

Швыдченко повезло, единственное орудие снесло расчёт, покорёжив пулемёт. Он вновь заполз в воронку. Вцепившись зубами в жёсткое сукно рукава шинели, выл от страха и безнадежности. Бормотал слова молитвы «...помилуй мя, грешного...»

Вокруг гремели взрывы.

Потом грохот взрывов стих, остались только крики и стоны раненых:

– Санинструктора! Санинструктора сюда!

До санбата больше километра.

Это был адски страшный путь. В сторону санбата, опираясь на винтовки, брели несколько раненых. Кто-то шёл своими ногами, кто-то пытался передвигаться на всех четырёх. Человек без ноги со жгутом полз на локтях.

Стоны, крики, плач, даже вой. Шла пара обнявшихся солдат. Сделав два шага останавливались, потом стояли, шатаясь и крепко держась друг за друга, потом опять два-три шага.

Выносить раненых с поля боя имели право лишь специально назначенные для того бойцы-санитары и санинструкторы. Никому из штрафников не разрешалось во время боя выводить раненых в тыл. Все попытки такого рода расценивались, как уклонение от боя, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Перед боем предупреждали особо: если потащишь раненого в тыл – расстрел на месте за дезертирство.

Первая волна штрафников захлестнула окопы первого эшелона обороны.

Свалка шла, как в голодной собачьей стае: без обнюхивания и рыка. Каждый вдруг сразу нашёл себе врага по душе, с кем и сцепился, отчаянно напрягая все силы для победы над ним.

Крики, выстрелы, хрипы и стоны. Лученков помнил только, что кого то колол, бил прикладом.

Мелькали штыки, ножи, приклады винтовок и автоматов. Словно топоры по свиным тушам хряпали сапёрные лопатки, раздавались крики и мат, редкие очереди и выстрелы.

Рванула граната, опрокинув пулемет. Вверх поднялся фонтан земли. Пробежал взводный Привалов, с окровавленной щекой. Что-то кричал.

На дне траншеи валялись коробки с пулемётными лентами, несколько цинковых ящиков с патронами, россыпь медных гильз, немецкие круглые гранаты М-39, похожие на яйца.

Клёпа подхватил пару гранат, сунул их в карманы шинели.

Заглянув за выступ траншеи, увидел деревянную, видимо, принесенную из ближайшей деревни, дверь. Блиндаж.

Приотстав от всех, Клёпа толкнул дверь стволом винтовки и закатил внутрь гранату.

Граната была слабенькой.

Разброс осколков всего метров десять. Но хватило. Через четыре секунды раздался хлопок. Дверь слегка тряхнуло и изнутри повалил дым.

Клёпа пнул ногой дверь. Она распахнулась и ударилась в стену.

В блиндаже воняло тротилом и препаратом от вшей, который повсеместно использовали немцы. Химическая, ни с чем несравнимая вонь, перебивала даже запах взрывчатки. На полу разбросано тряпье. Ящик из-под немецких ручных гранат. Кровавые бинты.

На побитом осколками столе он нашёл галеты, банку консервов и датское масло в жестяной упаковке.

На вбитом в стену гвозде висели противогазы и офицерская шинель.

В углу, на замусоренном, растоптанном полу блиндажа, лежал мёртвый немецкий офицер. Осколками ему разворотило живот.

На поясе в кобуре «парабеллум». А на руке, закинутой за голову, желтым блеском сияли золотые часы на позолоченном, слегка потёртом браслете и обручальное кольцо. Немцу было около сорока. Немолодой.

Песок под ним становился всё темнее и темнее от загустевшей крови.

Клёпа был потомственный вор. Воровали его отец и мать. Воровал дед. Сам Клёпа воровал с тех пор, когда начал шевелить пальцами. Тяга к преступному ремеслу впиталась в него вместе с молоком матери.

Клёпа поднял «парабеллум». Снял с руки часы.

– Хорошие часики, заграничные, – сказал он. – Больших денег стоят.

Клёпа хотел уже уходить, но решил проверить карманы убитого. Как оказалось не зря.

В карманы его ватных штанов переключевали складной нож с деревянной ручкой, толстый двухцветный карандаш, плоская немецкая фляжка.

В нагрудном кармане обнаружилась открытка с полуодетой красоткой.

На обороте была наклеена марка, припечатанная грязным фиолетовым штемпелем.

Клёпа одобрительно цыкнул слюной. Оглянулся на дверь, сунул открытку за пазуху.

Потом открутил крышку фляжки, сделал большой глоток.

– Коньяк! А ввали, что он весь клопами пахнет!

Собрал несколько банок консервов и сунул их за пазуху.

Тем временем штрафники, перескочив через траншею, уже бежали штурмовать вторую линию.

Серая и рыжая волна телогреек, перемахнув первые окопы, покати́лась ко второй линии немецкой обороны. Неожиданно с фланга ударил пулемёт. Свинцовые струи буквально выкосили цепь. И опять падали на бегу атакующие... падают... падают... Всё поле было усеяно телами убитых и раненых... Штрафники опять залегли.

Клёпа схватил опрокинутый на дно траншеи пулемёт МГ-42. Вывалил его на земляной бруствер. Закричал:

– Держись братва! Сам Миха Клёпа мазу тянет!

Выскочив из окопа, подхватил пулемёт с тяжёлой, свисавшей до земли лентой, бросился в поле. Оскальзываясь на мокрой земле, побежал в ту сторону, где слышалась стрельба.

На земле и в траншеях валялись трупы. Лученков наступил на чьё-то разорванное тело. Затошнило при виде парящих слизых внутренностей.

Желудок сжался и подкатился к горлу. Согнувшись, он схватился за живот. Его рвало и выворачивало. В промежутках приступов он всё чаще и явственней различал голоса своих, – бой затихал. Обессиленный, опустошённый, Лученков наконец выпрямился и посмотрел себе под ноги.

Носки и голенища его сапог были в чём то, белесовато-розовом.

Несколько секунд Глеб непонимающе смотрел на свои сапоги.

«Это кровь... и моя блевотина!» – равнодушно подумал он и пьяной рысцой побежал туда, где гомонили штрафники.

Из-за поворота окопа вывалился Клёпа с пулемётом в руках.

– Свои! Не видишь... в рот тебе, в душу!.. – испуганно вскрикнул, увидев перед собой окровавленного страшного Лученкова и направленный на себя окровавленный штык.

Глеб даже удивился.

– Миха, как ты ещё живой?

Тот в ответ засмеялся, щурясь на солнце и показывая металлическую фикса.

– Сам удивляюсь... Вашими молитвами...

* * *

Зоя ползала по передовой, перевязывала раненых.

Придерживая рукой голову тяжелораненого, давала глотнуть из фляжки водки и просила с той непривычной на фронте

нежностью, которая уместна только по отношению к умирающему:

– Потерпи, миленький. Потерпи, родной! Сейчас уже. Скоро...

Легкораненым кричала сердито:

– Чего раскис? Ну-ка давай ползи в траншеи, пока не отморозил себе чего-нибудь!

Нашла командира роты. Он сидел в воронке, вытянув ногу. Опустившись возле него на колени, Зоя пошарила руками и сразу наткнулась на приклад автомата, присыпанный землёй.

Руки Половкова были испачканы кровью, снег под ним был бурый. Он оставался безразличным к её прикосновениям, лишь натужно, тихо стонал.

– Вы в крови.

– Это из ноги. Зацепило.

Она разрезала ножом его штанину. Вытерла кровь, пытаясь разглядеть рану.

– Это просто царапина, – сказала ободряюще. – Не двигайтесь, сейчас перевяжем.

Половков скривился. Он был бледный, кружилась голова. Сбоку взглянул на санинструктора. И заметил не только грязную телогрейку и рваные ватные штаны, но и длинные ресницы, нежный румянец на обветренных щеках.

Ему даже захотелось дотронуться до её щек, взять их в свои ладони, но показалось, что для командира штрафной роты это будет выглядеть несолидно. Он вдруг совсем растерялся и, кашлянув, сказал:

– Спасибо, спасительница, а я, дурак, хотел тебя в блиндаже оставить.

Ловко разрывая бинт, санинструктор матюкнулась.

– Так не только вы! Все вы, мужики, дураки редкостные! Что бы вы без баб делали!

Передала бойцам перевязанного Половкова, и те оттащили его в блиндаж. До конца боя он оставался на передовой. Корректировал огонь, руководил боем, отправляя связных с приказами к командирам взводов.

Невесть откуда прилетевший осколок ударил Зою в ягодицу. Не тяжело. Но шок, кровь, боль.

Никому до неё не было дела. Все в немецких окопах. Рядом только убитые и раненые. Санинструктор сделала попытку самостоятельно перевязать рану, но неудобно. Сзади ничего не видно. Больно! Она расплакалась, не столько от боли, сколько от обиды.

Самостоятельно доползла до траншеи.

Легкораненый солдатик достал из её сумки с красным крестом перевязочный пакет. Задрал телогрейку. На её ватных штанах сзади, темнело кровавое пятно. Из рваной дыры торчал окровавленный клочок ваты.

Штаны, пропитанные кровью, присохли к ране. Зоя решительно рванула, закусила от боли нижнюю губу. Грязные штаны и кальсоны спустились ниже колен, мелькнула молочно-белая кожа. Левая нога дрожала, была вся в крови.

Сказала, чуть не плача.

– И какого черта я с вами связалась! Сидела бы себе в батальоне!

Боец рукой прикоснулся к её бедру. Руки дрожат, растерялся.

Наконец собрался с духом. А Зоя кричит: «Ты что меня бинтуешь, как ладошкой гладишь! Бабью задницу не видел! Туже бинтуй, истеку ведь кровью».

Кое-как перевязал трясущимися руками. Спросил:

– Дойдешь до медсанбата сама?

– Д-дойду, – закусила губу.

Опираясь на чью то винтовку, захромала к медсанбатовским палаткам, стоящим в дальнем тылу.

Следом за Зоей ковыляли ещё несколько бойцов. Они были похожи на выскочивших из преисподней грешников. У одного рука была подвязана к шее оторванным рукавом гимнастёрки, у другого безжизненно висела вдоль тела. Ещё один штрафник, повиснув на их плечах, прыгал на одной ноге. Вторая была укутана куском шинели, перемотанным винтовочным ремнём. За ними, поддерживая друг друга, тянулись ещё несколько раненых.

В медсанбате под потолком висел плотный слой дыма, и в углах притаился непобежденный копилками мрак. Резкий запах бинтов, мочи, гноя и прокисшая вонь портянок. На полу вповалку лежали раненые. Бледные землистые лица. Впавшие щёки покрытые щетиной, тяжёлый запах, стоны.

Крепкая, как жёлудь, медсестра с красным обветренным лицом колола тяжелораненым морфий. Те, кто был ранен полегче, скрипели зубами, матерились, просили спирту.

Женщина на войне, это вообще – страх и ужас. Тяжёлая работа, отсутствие каких либо бытовых условий. А тут ещё любой норовит ей юбку задрать, даже самой некрасивой. Вдруг завтра убьют, и больше ничего уже не будет.

Медсестра Нина сама из деревни. Дома её дразнили за некрасивую фигуру, неласковый характер. Парни свататься не

спешили, обходили стороной, а позже, когда началась война и мужиков забрали в армию, все мысли о замужестве пришлось забыть.

Когда исполнилось восемнадцать, попросилась на фронт. Думалось, что встретит там какогонибудь молодого и красивого лейтенанта, да выйдет за него замуж.

Но всё оказалось не так.

Мимолётные случайные связи, после которых лейтенанты и капитаны погибали или забывали её навсегда. Кому она нужна? До завтра бы дожить!

Кто-то в танковом шлеме, чуть не до пояса перетянутый бинтами – и грудь, и голова, – кричал:

– Санитары! Санитары!

Двое пожилых санитаров, в неподпоясанных шинелях, выносили из операционной прооперированных. Один был высокий и чёрный, другой – толстоватый, рыхлый – оба мешковатые, видно, недавно мобилизованные.

Какая-то женщина в резиновых перчатках и совершенно плоской спиной периодически выносила на улицу железное ржавое ведро, до самых краёв наполненное смертным добром, пулями, осколками, окровавленными багровыми тряпками, бинтами, ватой. Среди кровавой мешанины иногда выглядывали желтовато-восковые кости, чья-то кисть, стопа...

Из раскрытых дверей вслед за ней врывалось облако холода.

В операционной стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые брезентом и клеёнками. Раздетые до кальсон раненые лежали поперёк столов, словно железнодорожные шпалы. Терпеливо ждали своей очереди. Хирург – сухой, сутулый, пропитанный спиртом и никотином с закатанными выше костлявых локтей рукавами окровавленного халата – в окружении сестёр орудовал за отдельным столом.

Ассистирующая ему медсестра молча подавала тампоны из стерильной марли, а намокшие от крови куски бросала в ведро.

Покопавшись в ране и подцепив пинцетом хирург резко выдернул у Половкова из ляжки зазубренный осколок.

Бросил его в металлическое ведро под ногами. Осколок глухо звякнул. Медсестра ловко и туго перевязала бинтом ногу.

Кряхтя и постанывая, натянул окровавленные задубевшие галифе.

Хирург пробурчал:

– Повезло тебе, ротный. Ещё чуть бы в сторону и – не мужик! А так через неделю прыгать будешь. Унести!

Половкова подхватили под руки и увели. Одна из медсестёр металлической кружкой зачерпывает из ведра кипятка и поливает им стол. Потом остервенелась трёт его тряпкой. Другая складывает в несколько слоёв марлю для наркозной маски.

Хирург поднимает вверх обтёртые спиртом ладони. Властно кричит:

– Следующий!

Половков категорически отказался оставаться в медсанбате. Прибежавший Хусаинов отвёл его в роту.

Следом за ним неожиданно с грохотом распахнулась дверь, и из избы выскочила, опираясь на палку, вся красная от бешенства Зоя.

– Падлы, – кричала она, – крысы тыловые! Какой нахрен госпиталь! Здесь лечиться буду. Никуда не поеду!

* * *

Двое немцев с ручным пулемётом отходили, яростно отстреливаясь. Высокие, крепкие. Отходили медленно, устали. Вид у них был страшный, оскаленные лица, вылезшие из орбит безумные глаза.

Гулыга подполз с правого фланга. Пулемётчик, заметив его, повёл стволом. Но очереди не последовало. Закончилась лента. Тогда Гулыга дал длинную очередь из автомата. Один из немцев ткнулся лицом в землю и засучил сапогами. Второй, державший в руках новую металлическую ленту, поднял руки.

Гулыга подобрал пулемёт, что-то долго объяснял пленному немцу. Из-под расстёгнутой шинели немецкого пулемётчика выглядывал серо-зелёный мундир, грязные руки тряслись. Наконец, поняв, чего от него хочет русский солдат с таким страшным лицом, он закивал головой и помог ему вставить новую ленту. Гулыга окинул взглядом высокую, худую фигуру немца, металлические пуговицы на его шинели, короткие порыжелые сапоги и съехавшую на глаза каску.

Потом качнулся, издал странный горловой звук, не то всхлипнул, не то выматерился и очередью из пулемёта в упор срезал помогавшего ему немца.

Пули пробили добротное шинельное сукно мышинного цвета. На спине убитого пулемётчика набухли кровью рваные пулевые отверстия.

Остаток металлической ленты короткими ритмичными рывками вошёл в приёмник трофейного МГ, и пулемет умолк, сде-

лав последнюю короткую, как отчаянный крик, очередь. Гулыга уронил от плеча короткий рог приклада и какое-то мгновение, будто преодолевая оцепенение, смотрел, как тают снежинки на перегретом стволе и на дырчатом сизом кожухе пулемёта.

Установилась зыбкая, пугливая тишина – ни звука, ни выстрела. Уже совсем рассвело, взошло солнце, и над полем недавнего боя медленно поплыли рваные облака. Тусклые солнечные лучи падали на серые комья земли, лежащие на бруствере, на тела немецких и русских солдат, разбросанных по всему полю.

Штрафники расчищали траншею, складывали в ячейках своих убитых. Снимали с них вещмешки с патронами, противогазные сумки с гранатами и сухим пайком.

Блатные столпились вокруг убитых.

У Клёпы на животе болталась лакированная кобура парабеллума. Подойдя к Гулыге и не вынимая папироски изо рта, сказал уважительно:

– Ну, Никифор Петрович! Ловко вы их, прямо, как в кино...

Вид у Гулыги страшный, пахнувший смертью. На плече немецкий пулемёт.

Руки, лицо, телогрейка, – всё было в крови.

Гулыга зачерпнул из лужи воды, ополоснул лицо, устало прикрикнул:

– Ну чего встали? Цирк вам тут? – Повернулся к Клёпе. – А ты чего тут торчишь, чайка соловецкая? Трофеи не нужны?

– Нужны, нужны! – спохватился Клёпа. – Но вы ж таки слегка легкомысленный! Чуть что – сразу стреляете. Я думаю, что ваша мама этому бы слегка огорчилась!

Гулыга повернулся к Швыдченко. Затянулся трофейной сигаретой.

– Вы не держите на меня зла, Александр. Характер у меня золотой. Поэтому такой тяжёлый...

И не поймёшь, то ли он действительно извинялся, то ли издевался как всегда, уголовная морда!

Швыдченко молча смотрел на ствол его автомата с затухающей злобой в глазах.

Обманутый тишиной, недвижно распластав в вышине крылья, парил коршун.

Гулыга докурил немецкую сигарету, нехотя уронил окурочок под ноги и, задрав голову вверх, искренне позавидовал:

– Вот смотри ж ты, вроде и птица безмозглая, а никаких над ней трибуналов и начальников. Сумела же устроиться по жизни!

Временно замещающий Половкова лейтенант Васильев собирал остатки роты. Переругивался со взводными и спрашивал: «Где тот? Где этот? Почему не собрали трофейное оружие?»

Старшина и двое помощников притащили несколько термосов с едой.

Бросили на землю солдатские сидора, которые мягко осели широкими бабьими боками.

Штрафники сидели у разожжённого костра – Гулыга, Лученков, Клёпа и ещё человек десять штрафников. Кряхтя, стаскивали с ног рыжие немецкие сапоги, широкие в голенищах и растоптанные внизу, с загнутыми, как полозья, носками. Разматывали сырые портянки, ковыряли завязки ватных штанов. Устало занимали очередь за окурком.

– Покурим, земля?

– Покурим... Покурим...

Крохотный окурочек передавался из рук в руки, превращаясь в мокрый клочок газетной бумаги.

Клёпа, увидев старшину, встал, поднял за лямки сидор, тряхнул его. Глухо стукнули металлические банки. Рядом поставили термосы с кашей.

Загрели котелки. Бойцы жадно ели. Сразу притихли разговоры. Слышался лишь стук ложек.

Каша была плохо проварена, сплошь в чёрных зернах, мелких камешках и непонятном мусоре. Противно скрипела на зубах.

Лученков ел быстро. Присев на корточки, вообще не заметил, как исчезла половина котелка. Вытер ложку о шинель, передал её и котелок Клёпе.

Клёпа, ковыряя ложкой в котелке, бурчал:

– Вот сука жизнь! Не сиделось мне спокойно в лагере... – Клёпа вздохнул. – Захотелось пожрать, пошлешь человека в столовую. Скажешь, чтобы картошечки пожарили... С хрустящей корочкой. На постном масле. А тут беги, копай, стреляй! Что за жизнь. Не-еет! Буду проситься обратно. Старшина, водка где?

Старшина виновато прятал глаза и негромко оправдывался:

– Хлопцы, да говорю же вам, осколок прямо в термос попал. Вытекло всё на землю.

– Ну-ну! То-то я смотрю от тебя запах идёт. Наверное, собственным телом дыру закрывал! Вот проиграю тебя в карты, будешь тогда знать!

Остальные штрафники, изголодавшись, не слушали ни Клёпин трёп, ни оправдания старшины.

После боя почти все скинули обмотки, переобулись в добротные немецкие сапоги с подковами.

Подсчитывали потери. Погибли тридцать пять человек. Более семидесяти были ранено.

Тяжело раненые бойцы уже лежали на разбросанной соломе в повозках, которые подогнал старшина.

Легкораненые толпились рядом, жадно курили. В потёртых телогрейках и шинелях, в заляпанных грязью сапогах, в окровавленных бинтах.

Мысленно они уже были в госпитале, из которого, перекатовавшись пару месяцев на чистых простынях, будут отправлены уже в обычные части.

Опираясь на палку, приковылял Половков, подошёл к раненым.

Наклонился над подводой.

– Что, хлопцы, отвоевались?

На самом краю подводы, вытянувшись во весь рост и запрокинув обмотанное окровавленным бинтом лицо, лежал незнакомый штрафник. На нём не было ни каски, ни шапки. Половков тронул его за рукав шинели, сказал:

– Не узнаю. Кто это?

– Шматко, – ответил ездовой, торопливо расправляя вожжи. – Челюсть ему осколком оторвало. Отвоевался. Поедем мы, товарищ капитан. Поспешать надо. Но-оо!

Шматко был из первого взвода. Из недавнего пополнения. В штрафную попал за самоволку. Половков вспомнил, что видел его перед самым боем. Недолго повоевал.

И, глядя на раненых, облепивших подводы, он подумал, что как раз им-то и повезло. Будут жить. Во всяком случае, ещё несколько месяцев.

Раненых отправили в госпиталь.

Собрали тела убитых. Немцев просто стащили в глубокую воронку, которую предварительно углубили и расширили.

Своих складывали в стороне, вынимали из карманов документы, неотправленные письма. Обгоревших и разорванных взрывами узнавали по зубам, обуви, татуировкам. Абармида Хурхэнова узнали только по кистям рук. Они у него были широкие, как лопата, коричневые, с чёрной траурной каймой под ногтями, больше похожие на конские копыта.

Подошёл Гулыга, стянул с головы шапку.

– Прощай, Абармидка. Ты был вором, знаешь, что мы как волки: долго не живём и почти не приручаемся.

Несколько штрафников стояли в стороне.

– Чего здесь торчите? – спросил Васильев, проходя мимо.

– Мы – мусульмане, – ответил один из них. – Хотим земляков по своим обычаям хоронить. В саваны их завернуть надо.

Васильев секунду подумал.

– Ищите старшину.

Когда нашли Ильченко тот схватился за голову: «Где же я вам столько одеял найду?»

Всех убитых сложили у землянки. Трупы лежали в каком-то напряжённом ожидании, словно не веря в то, что уже освободились от земного срока и обязанности бежать в атаку.

Лученков сидел на пустом снаряжном ящике и курил, сощурился поглядывая то на едва заалевшую вату облаков на закате, то на шеренгу убитых, лежавших на земле.

Вспоминалось, как с простреленной головой лежал отец на полу в кальсонах, и сзади на них чернела большая прореха.

* * *

Кисло-серый хмурый день. Вечереет. Кое-где лежит снег. Он грязный, в синеватых оспинах и подтёках. У землянки, там, где лежали трупы, перемешан с подмерзающей буро-жёлтой глинистой грязью.

На подводах притащилась похоронная команда. Их валко тянули понурые и грязные по брюхо трофейные клячи.

Некому их было на передовой чистить. Некогда. Да и незачем, всё равно убьют. Так и стояли они в ямах, накрытых хворостом, в навозе по брюхо.

За подводами тянулась тёмная извилистая колея.

Держа в руках вожжи, не торопясь, брели трое обозников. На них длинные заляпаные грязью шинели. В подводах лежало несколько больших чучалов, накрытых мешками и рогожей. Поймавшая запах близкой смерти головная лошадь фыркнула, прыгнула в сторону.

– Т-пр-ру, курва! – ругнулся обозник. – На махан захотела!?

Голос и скрип повисли в стылom воздухе, лёгкий ветерок принёс терпкий запах конского пота и навоза.

Земля мёрзлая и каменистая, глубоко не укопашь. Для могилы выбрали большую воронку.

Прежде чем бросать тела, покойников раздели.

С них стаскивали пробитые пулями телогрейки, окровавленные гимнастёрки и даже кальсоны. На окровавленных телах рябь многочисленных татуировок. Синели портреты вождей мирового пролетариата: Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Успевшие окончить руки неуклюже торчали в разные стороны, словно посылая последний привет своим бывшим товарищам.

Одежду кидали в рогожные чувалы. Точно серым крылом махнуло по лицам стоящих поодаль штрафников. Охмурились. Зароптали.

Загребая землю носками сапог, подошёл замполит. Издалека крикнул:

– Отставить! В чём дело?

Выслушав штрафников, он подошёл к лежащим телам и, полузажмурясь, долго разглядывал убитых. Потом подозвал к себе старшего команды похоронщиков.

Что-то долго говорил ему, без конца трогая рукой кобуру своего ТТ.

До стоящих вдалеке штрафников доносились лишь отдельные слова.

– Каждый из них... герой... за Родину. А ты... ты их... без штанов... в землю! Они что, не заработали?!

Сержант широкий, почти квадратный, с рыжей щетиной до скул, дыша водкой и махорочным перегаром, смотрел на него равнодушным взглядом человека, которому выпал другой жребий. Потом отрицательно покачал головой, досадливо отмахнулся.

– Не могу. Приказ самого Верховного. Нарушу, сам у вас окажусь. Обувки и одежды не хватает, снимают для нового пополнения. Так что извини, лейтенант.

Замполит махнул рукой, горбя плечи и спину, отошёл в сторону.

Лица убитых прикрыли брезентом и присыпали землёй.

Фамилии погибших вписали в специальную книгу с указанием места нахождения могилы и ориентиров по местности. Донесение о потерях отправили в штаб.

На краю у леса – длинный ров, наполовину засыпанный землей и снегом, – братская могила. Без креста. С наспех сколоченной пирамидкой и красной звёздочкой на фанерке.

Но там лежали уже не штрафники, а бойцы Красной Армии, погибшие при защите Родины. Напоследок замполит приказал дать винтовочный залп. Это было всё, чем их могла отблагодарить Родина за последний подвиг.

Рота заняла немецкие позиции. В окопах боевое охранение. Все остальные грелись в отбитых у немцев блиндажах.

Они обжиты и уютны. Правда, с необычным запахом другой, чужой жизни.

Штрафники поначалу воротили носы.

– Что? – вопрошал Половков у Хусаинова, сворачивая конусом клочок бумаги. – Нерусским духом пахнет?

Он сидел в блиндаже на патронном ящике перед печкой, вытянув вперёд раненую ногу.

Держал в руке козью ножку и сыпал в неё из ладони табак.

– Это точно, дух нерусский. Мылом да одеколоном. Нам привычней, когда портяночный запах. Он ядрёный, аж слезу вышибает!

– Большие потери в роте, капитан? – зайдя в блиндаж, спросил старший лейтенант Мотовилов.

Половков вздрогнул, настолько неожиданным был вопрос.

Не сдвигая с места раненой ноги, всем корпусом развернулся к оперуполномоченному особого отдела. Серый, небритый, с мятым лицом.

Под накинутой на плечи шинелью звякнули медали. На потолке блиндажа дёрнулась большая изломанная тень.

– Половина. Половину роты убитыми и ранеными потеряли. В основном из последнего пополнения. Жалко. И не повоевали совсем.

– А как ты хотел, капитан? – серьёзно сказал Мотовилов. – Солдаты на войне это дрова. Кинули их в топку, пых – и нету! Чего их жалеть? Кто и когда в России дрова жалел? Не в обиду капитан, будь сказано. Война идёт. До последнего человека. До последней капли крови. Понимаешь? Родина в опасности! Такие люди гибнут! А у нас здесь спецконтингент. Уголовники. Мать их! Штрафная мразь!

У большинства из них всё равно один конец. Не погибнут от немецкой пули, так зарежут где-нибудь на этапе. Или сдохнут в лагерном бараке от чахотки. Те, кто выживет, вернутся с войны законченными негодьями, для которых убить человека так же легко, как выкурить папиросу. Даже если это и не враг.

Запомни, кто хоть раз отведал тюремной баланды — будет жрать её снова. Только единицы станут людьми. Может быть, выучится, заведёт семью. Но это при условии, если мы остановим немцев и победим.

Старший лейтенант Мотовилов достал портсигар. Протянул его Половкову.

– Закуривай капитан. Это «Казбек», вчера посылку получил.

Командир штрафной роты бросил самокрутку, закурил папиросу. После фронтовой махорки она тошнотно сладковата.

– Я ведь начинал службу уполномоченным районного ГПУ. – продолжал Мотовилов. – В округе семь сёл, а в них, кто вернулся с Соловков, кто с Нарыма. И не просто воры – щипачи, как эти!

Старший лейтенант презрительно мотнул головой в сторону входной двери.

– Были такие, кто с оружием на нас ходил, нашу кровь проливал. Воевали у Петлюры, у Махна, у Маруси, у Ангела... Но ничего, я их всех в бараний рог гнул. Эшелонами по этапу отправлял.

Мотовилов говорил, не повышая голоса. В глубоко посаженных, маленьких, глазках – ни капли жалости. Папироса дымилась равномерно.

Половков верил ему. Он сам был сыном конюха, до армии работал в колхозе. Был пионером, комсомольцем. Остался на сверхсрочную, стал офицером.

Он смотрел в лицо оперуполномоченного особого отдела и думал:

«Прав старший лейтенант. Прав по всем позициям. Что тут обсуждать? И так всё понятно без слов. Что будут стоять все наши жизни, если победит Гитлер? Потому и не стоят они на войне ничего. Ни моя, ни Мотовилова, ни того же Печерицы. Был солдат, и нет солдата. Погиб и погиб. Другой на его место придёт. Из маршевой роты пришлют пополнение. И будет оно таким же неприхотливым и бессловесным».

* * *

После того, как захватили немецкие позиции, несколько дней было тихо. Штрафники передали свои позиции соседям и остатки роты отвели в ближайший тыл на формирование.

Штрафников выводили только в район штаба армии, потому что вся ротная документация носила секретный характер, и там же находились ротные тылы.

Там отсыпались и отъедались. Начальство пока не трогало. Пользуясь отдыхом, устроили баню с прожаркой белья и вошебойкой. Теперь несколько дней можно было не чесаться.

После окопной жизни маленькая брошенная деревушка в окружении чахлых кустарников и кочкастых лугов показалась Лученкову настоящим раем на земле. словно впервые появившись на свет, он с наслаждением сидел на крылечке сумрачного заброшенного дома, смотрел на придавленные соломенными крышами покосившиеся избы и жадно вдыхал приправленный дымком осенний воздух.

Закурив, он поднялся и по размытой дождём тропинке пошёл к лесному ручейку.

Осенняя вода была холодной и чистой, по её поверхности плавали жёлтые листья. Присев на корточки у кромки воды, Лученков нагнулся и, глядя в своё отражение, стал пить.

Рядом по поверхности воды, как по гладкому льду, скользила бескрылая водомерка.

Лученков напился, но всё стоял на четвереньках, смотрел на скользкую букашку. Попытался схватить её в ладонь, но та растворилась на тёмной поверхности.

* * *

Клёпа, известный в роте барахольщик, обзавёлся отличным трофейным набором для бритья. Помазок из натуральной барсучьей шерсти, стаканчик для взбивания пены, зеркальце, ремень для правки бритвы и сама бритва с роговыми щечками. На лезвии надпись «Puma. Solingen».

Клёпа сидел на патронном ящике и брился.

Смачивал лицо тёплой водой из котелка, старательно тёр его пахучим немецким мылом. Потом осторожно раскрыл бритву и, далеко отставив от себя локоть, дотронулся лезвием до щеки. Бритва легко скользнула по коже, снимая редкие, неровно растущие волосы.

После того, как Клёпа закончил бриться, Глеб взял бритву в руки. Она тяжёлая, с монограммой.

– Хороший аппарат, – сказал Лученков и после небольшой паузы добавил: – Только я бы её на самогон обменял, а то вдруг убьют завтра. Кому тогда достанется?

Желание выпить у штрафников присутствовало всегда. Пили всё, что удавалось достать. Но официально достать можно было лишь в двух случаях: фронтовая кружка перед атакой или же, если спиртное обнаруживалось у убитых немцев.

Можно было, конечно, постараться выкружить у старшины. Но у Ильченко был приказ Половкова, без его приказа спирт штрафникам не давать! Не продавать! Не менять!

Клёпа заметил у длинного, тощего башкира Арсена Ахтямова картонную коробочку с надписью на немецком «Трокен спиритус». Прочитать слово «Спиритус» не составило труда.

Клёпа присел рядом с башкиром. Предложил:

– Кури, – и протянул обрывок газеты, на который кинул щепотку махорки.

Ахтямов закурил.

– Надо побазарить, – сказал Клёпа.

Ахтямов высморкался, утёрся рукавицей и с явным неодобрением шумно вздохнул:

– Ну... тогда базарь.

Клёпа в двух словах изложил своё предложение.

Ахтямов меняться не захотел. Он был жук ещё тот. Сам ростом невелик, но умом шустёр. Лицо скуловатое, уши оттопыренные, торчат в разные стороны как у летучей мыши.

До войны мыл золото на Колыме. По тихому сбывал скупщикам, те отправляли на материк. Денежки у него водились.

Подвыпив, любил рассказывать, как мыл золотишко.

– Это в книжках пишут, что золото блестит. А оно мелкое как табак и тусклое. Ты палец поскрестишь, раз и эту табачинку на бумажку. – Ахтямов давил пальцем на хлебную крошку.

– Считаю рупь в кармане. Раз! И ещё рупь в кармане!

Чтобы не призвали на фронт, сунул кому-то взятку и сумел пристроиться стрелком ВОХРы в одном из колымских лагерей. Как рассказывал сам, думал, что ухватил аллаха за бороду.

С зэковского пайка ел и пил в своё удовольствие.

Кроме того, ВОХРовское начальство иногда назначало стрелков конвоировать женские бригады на лесоповал. А уж там изголодавшиеся женщины за буханку хлеба охотно уступали себя ВОХРе.

Стрелки были довольны – и дешево, и сердито. Женщины тоже не жаловались, где ещё на женской зоне урвёшь бабьего счастья. Так что интересы были соблюдены.

Но тут случилось непредвиденное. Пришла этапом молоденькая москвичка. Красивая как картинка, бывшая певичка из какого-то варьете.

ВОХРа на неё и запала, все перепробовали.

Через четыре недели у стрелков появилась сыпь. Врач поставил диагноз – сифилис.

Где певичка подхватила эту заразу, неизвестно. Может быть, от кого-то из кавалеров, может, во время торопливой случки где-нибудь на этапе. Но замять эту историю не удалось.

Всю ВОХРу осудили военным трибуналом по статьям за контрреволюционный саботаж и приговорили к расстрелу, но с заменой штрафной ротой, и отправили на фронт.

Ахтямова за мусорское прошлое в роте сторонились. Кроме того, он был ещё и куркулём.

Но на Клёпино везение оказался любителем азартных игр. Спирт решили закатать в картишки.

Играли в траншее на перевёрнутом снаряжном ящике, заменявшем стол. Клёпа поставил на кон бритву, Ахтямов – сухой спирт.

Выиграл Клёпа.

В картонной коробочке оказались какие-то серые твёрдые таблетки с неприятным запахом и складная металлическая подставка.

Клёпа в восторге покрутил головой – «Надо же до такого додуматься. Уже и спирт в таблетках придумали делать, фашисты проклятые!»

Он бросил в кружку две таблетки, потом подумал и добавил ещё две. Растолок их рукояткой ножа, налил воды. Таблетки не растворились.

Вытащил из-за голенища сапога ложку. Принялся лихорадочно размешивать содержимое кружки. Серые крошки осели на дно, не растворяясь. Клёпа сделал глоток. Порошок хрустел на зубах. Вкус омерзительный. Крепости никакой. Кайфа тоже.

– Да-ааа!– сказал Клёпа. – С ВОХРой спелся, сам ВОХРой стал. Говорила мне мама, не вяжись с легавыми. Обманут!

В это время прибежал Грачёв, новый связной командира роты. Клёпе предписывалось вместе со старшиной отбыть на склад и доставить на передовую продукты.

Старшина, увидев Клёпу, загоревал. Он уже знал, что тот страшный лодырь и работать не будет. Обязательно найдёт повод зафилонить. Вот украсть, это всегда, пожалуйста! Но таскать тяжести, это уж увольте.

Так и случилось. Всю дорогу до склада Клёпа жаловался на слабость, на головокружение. А потом взвалив на плечо ящик с тушёнкой, побледнел и схватился за живот.

– Язва, сука! Уж который год меня изнутри жрёт, хуже Гитлера!

Сплюнул на грязный снег кровью.

– Всё, кранты! Передай комиссару... что я перед смертью просил считать меня коммунистом!

Перепуганный старшина отправил его в санбат.

Но Клёпа туда не дошёл.

У танкистов он обменял банку тушёнки, оказавшуюся в кармане шинели, на какую-то бурду, уважительно именуемую «шилом».

«Шило» по вкусу и запаху было очень похоже на керосин. Скорее всего его хранили в ёмкости из-под топлива. Отрыжка напоминала выхлоп танкового двигателя.

Старшина вернулся без Клёпы. Приданный ему подчинённый появился часа через два. Нетвёрдо стоящий на ногах. В расхристанном виде. Со свежей ссадиной на лбу.

Помочился на штабное крыльцо. Икнул. Потом обматерил появившегося старшего лейтенанта Васильева.

Тот приказал, до полного протрезвления, закрыть Клёпу в холодном сарае. Клёпу взяли за руки и за ноги и бросили в сарай на драный мешок, набитый сеном.

Рядом поставили караульного.

Ночью Клёпа пришёл в себя. В разбитое стрельчатое окно увидел край освещённого луной облака, из которого попыхивал трубкой товарищ Сталин. Вождь заглядывал в маленькое окошечко под крышей и посасывал мундштук трубки.

Клёпа спросил:

– За что я сижу, Иосиф Виссарионович? В чём я виноват?

Сталин ответил глухим ровным голосом:

– Ви ни в чем не виноваты, товарищ боец. Мы с товарищами из Политбюро уже разобрались в вашем деле. За вашу храбрость в борьбе с вражеской авиацией принято решение присвоить вам звание генерал-майора. Форму и погоны получите утром перед совещанием.

Вождь всех народов медленно выпустил клуб дыма и скрылся за облаком.

Клёпа вскочил. Подбежал к двери. Забарабанил кулаками.

– Открывай, сука волчья!

Караульный подошёл к двери. Зевнул:

– Чего тебе, Клёпа?

– Как чего? Мундир тащи генеральский! Меня товарищ Сталин вызывал на совещание! Ну-у!

Тот ещё раз зевнул:

– Спи, Клёпа. Совещание отложили до завтра.

* * *

Штрафники отдыхали. Жили почти мирной жизнью.

– Эх, лафа! – смеялся Клёпа. – Всю войну бы так кантовался!

– Дурень ты дурень! – как на полоумного покосился на него Павлов. – Не знаешь ишшо, что на войне, если тихо и ты жив, это значит, что кто-то впереди умирает за тебя.

Но отдохнуть дали недолго. Через несколько дней привезли канистры со спиртом. Это означало, что скоро снова в бой.

Ранним утром приказали построиться в походную колонну. Шёл осенний холодный дождь пополам со снегом. Земля разбухла и до краёв насытилась влагой. Раскисшие дороги превратились в густое чёрное месиво, цепляющееся за ноги, за колеса повозок и машин.

Растянувшаяся колонна штрафников месила грязь по расквашенной дождями полевой дороге, изрезанной глубокими колеями от проезжающих танков и машин. Многие из штрафников перевязаны тряпками и грязными бинтами. Мерили фронтовые километры натруженными солдатскими ногами, вытаскивая их из липкой осенней грязи. Тащили на спинах станины пулемётов, пулемётные стволы с казенниками, ротные миномёты и снаряды.

Лученков приложился губами к фляжке, сделав несколько экономных глотков, передал фляжку Клёпе. Тот опустошил её почти до дна.

Глеб укоризненно покачал головой. Никто не знает, сколько ещё придётся топать пешедралом, вряд ли остатки роты останутся у колодца, или у реки. Погонят до самого места.

Вещмешок оттягивал плечи. Несколько набитых автоматных дисков били по бедру. Лученков нащупал брезентовый ремень противогазной сумки и, поморщившись, подтянул её повыше.

Клёпа тоже шёл с автоматом. Но его противогазную сумку оттягивали не диски, а трофейное барахло, выигранное в секу и буру. Отдельное место занимала подушечка с зашитыми в ней золотыми цепочками и кольцами.

Мелькали сапоги, ботинки. Трепетали на ветру прожжённые у костров, пробитые осколками полы шинелей. Лошади, надрываясь, бились в грязи.

Вдоль дороги попадалась брошенная немецкая техника, лежали разбитые снарядные ящики, опрокинутые лафеты орудий.

Валялись трупы. Распухшие и заочневшие на холоде. Из грязи торчали части тел, спины, руки, ноги. Рядом со сгоревшим танком лежал чёрный обгоревший труп. Открытый рот, губ нет, закинута голова, опалённые, словно у забитого поросёнка, волосы.

Штрафников обгоняли колонны военной техники. Завывая и разбрызгивая грязь, ползли полторки и «ЗиСы, рычали танки и трактора, волочащие за собой тяжёлые пушки.

Штрафники то и дело уступали дорогу, молча сходя на обочину. В небе висело холодное равнодушное солнце.

Бойцы штрафной роты не смотрели по сторонам. Пот струился по усталым чумазым лицам, во рту липкая слюна.

В стороне от дороги буксовала полупортка. Водитель пытался по пашне обогнать колонну, и все четыре колеса глубоко увязли в размокшей земле.

Штрафники облепили грузовик, приседая, с криками и весёлыми матерками шаг за шагом передвинули его на дорогу.

В кузове полупортки продукты. Штрафники попросили еды. Лейтенант в круглых очках выскочил на подножку, вытащил из кобуры наган. Что-то кричал, угрожая. Машина, натужно завывая, скрылась по дороге.

Пока лейтенант размахивал наганом, штрафники успели выбросить из кузова мешок с сухарями и ящик с трофейным салом.

В редком лесочке, среди кустарника сделали первый привал. Распаренные быстрой ходьбой бойцы устало жевали закаменелые сухари, твёрдое как подошва сало. Пригоршнями черпали из тёмной лужицы меж кочек безвкусную дождевую воду.

Клёпа ворчал вполголоса:

– Вот жисть пошла! Прямо, как у Лысого. Не кормят и не хоронят. Не раз вспомнишь тут добром лагерную баланду...

Привал был недолгим. После короткого отдыха подняться почти невозможно. Но рота поднялась. Через четверть часа двинулась дальше.

Усталость, тяжесть, холодный непрекращающийся дождь вызывали равнодушие ко всему и к своей жизни.

– Шире шаг, золотая рота! А ну... песню запева-ааай!

И словно дожидаясь этой команды, рванул отчаянный мальчишеский тенорок:

*Стою я раз на стрёме,
Держу в руке наган,
Как вдруг ко мне подходит
Неизвестный мне гражданин.*

*Он говорит мне тихо:
«Позвольте вас спросить,
Где б можно было лихо
Эту ночь прокутить?»*

Запевала Саня Васин, пулемётчик и пакостный матершинник, в немецких, аккуратнo подкованных сапогах. Они тяжеловаты и непривычны, но носили такие почти все, стаскивая добротную обувь с убитых немцев.

– Шире пасти, членоплёты! – кричит заблатнённый пулемётчик.

Подхваченная зычными, глухими и хриплыми от простуды голосами, песня летела над дорогой.

*Потом его мы сдали
Войскам НКВД,
С тех пор его по тюрьмам
Я не встречал нигде.*

*Нам власти руки жали,
Жал руки прокурор,
Потом нас посажали
Под усиленный надзор...*

Уже темнело.

Неизвестность, недобрые предчувствия, страх и этот вот хриплый рёв под грохот мёрзлой солдатской обуви терзали души и сжимали сердца.

А рота всё шла и шла вперёд.

Наконец уже в темноте послышались голоса: «Стой! Привал...» Остановились на окраине села. За огородами. В самом селе разместился какой-то штаб, и штрафникам приказали туда не соваться.

Повозки поставили у высоких тополей с облетевшей листвою. Старшина выдал селёдку и по куску хлеба.

В крайних дворах среди ночи визгливо залаяла собачонка. Полаяла немного, возможно, на кошку или на птицу, потом взвизгнула и утихла.

Ранним утром младший лейтенант Голубенко обходил расположение роты. Вышел на поляну, где кособочились скирды прошлогодней соломы.

В нескольких метрах от них, под крайними пряслами огорода, дымился костерок. У огня сидели трое бойцов в телогрейках без воротников и старых, замызганных пилотках. Четвёртый лежал на земле, на надёрганной из скирды соломе. Он лежал на боку, подложив под голову руку и уныло тянул:

*Я сын рабочего, подпольщика-партийца.
Отец любил меня, и я им дорожил
Но извела отца проклятая больница,
Но извела отца проклятая больница,
Туберкулез его в могилу положил.*

Ещё один возился с костром. Подойдя ближе, Голубенко узнал в нём Клёпу, который жарил на костре свежее мясо.

Гулыга, Паша Одессит и Глеб Лученков сидели у костра. Хватали руками куски. Горячий жир стекал по рукам. Насытившийся Пушкарёнок лежал у костра.

Клёпа размахивал доской над тлеющими углями.

Сидевшие у костра штрафники заметили приближающегося к ним офицера, но делали вид, что его не видят.

Младший лейтенант подошёл ближе. Попытался рявкнуть:

– Вста-ать!

Сидевшие у костра люди медленно и нехотя повернулись на голос, какое-то время смотрели на взводного так, будто не узнавали своего командира. Пушкарёнок прекратил петь, тоже повернул голову.

– А-а, – протянул равнодушно Гулыга и стал подниматься.

За ним встали все остальные.

– Здравия желаю, товарищ командир, – равнодушно сказал Гулыга, почёсывая подмышкой.

– Присаживайся к нам.

Взводный принялся, раздувая ноздри.

– Что это у вас? Мясо?..

Гулыга вытёр рот рукавом грязной телогрейки, согласился.

– Ага! Мясо!

Спросил:

– Ну так будешь с нами, младшой? Знатный гуляш. Ещё утром гавкал!

Голубенко, уже взявший в руки кусок, поперхнулся:

– Так это что?.. Собака?

Гулыга кивнул. Клёпа всхлипнул вроде как огорчённо, мол, что же тут поделаешь.

– Так точно. Бобик! – подтвердил маленький жилистый Пушкарёнок, пережёвывая жёсткое мясо. – Булыга же сказал, гуляш!

Миха Клёпа надвинул ему на глаза каску:

– Молчите, Шура! Тщательней пережёвывайте пищу.

Пушкарёнок что-то пробурчал себе под нос неразборчиво, хотел снова сесть, но передумал и после минутного замешательства продолжил стоя обглаживать рёбрышко.

Пытающийся было присесть младший лейтенант вскочил. Пробормотал сконфуженно:

– Нет, спасибо. Я – сыт! Пойду. Надо ещё посты проверить.

– Ну вот, – сказал Гулыга после того, как взводный ушёл. – А он ещё спрашивает почему мы одни кушаем. Потому и кушаем, что все такие гуманисты, как товарищ лейтенант. Брезгуют! Неудомёк им, что собачка полезней, чем пшённая каша.

– По-моему, тоже собачатину есть можно, – сказал Паша Одессит с набитым ртом. – Лучше, чем сухари. Уже весь рот ободрал ими. Сейчас бы лучку еще!

– Ага! – добавляет Гулыга, – и сто грамм. А потом ещё и бабу попышней! Размечтались! Жрите давай и спать. Чует моё сердце завтра поднимут ни свет, ни заря!

На ночь расположились в коровнике с выбитыми окнами. Заснули сразу, не чувствуя ни холода, ни голода.

Хоть и не слишком уютно было в коровнике, где навоз слегка притрусил соломой, но на следующую ночь вспоминали его с тоской. Ничего, что навоз подтаял, и все вывозились в бурой жиже. Зато не мёрзли. Следующую ночь провели в лесу.

Ложиться на мокрую землю было опасно. Утром можно было не встать. Глеб решил ломать бурьян, чтобы выложить хоть подстилку. Возчики, привязав лошадей, устроились на повозках, а командиры ушли в село.

Еду, конечно, не подвезли, и спать укладывались на голодный желудок.

Наломав мокрого бурьяну, Лученков снял с себя шинель, постелил поверх, лег и укрылся полами. Дождь шёл и шёл, вода стекала с шинели. Сна не было.

Лученков вспоминал прошлую ночь в коровнике и с жареным мясом на ужин.

Понемногу, один за другим, заснули. Сон был недолгий.

Проснулся от холода. Ночью ударил мороз. Мокрая пола шинели вмерзла в землю. Громко, до хруста в челюстях зевая, Лученков замахал руками, присел раза два, чтобы согреться, разогнать кровь по телу. Обмотки, намотанные на ноги, размотались и сползли. Глеб долго шарил по земле, пытаясь разыскать их в темноте и вновь приладить на ноги.

С рассветом вновь двинулись пешим маршем. Впереди опять тянулась дорога, а по сторонам торчали чёрные, обуглившиеся от огня деревья.

Прошли последние дни октября, начался ноябрь – пасмурный, холодный...

Холодный стылый ветер раскачивал кусты и деревья, на ветвях которых кое-где еще сохранились осенние листья – порыжевшие, скрученные внезапно ударившим морозцем.

Многих убило за это время, многих ранило, но Лученков был ещё жив и даже не ранен.

Штрафников временно держали в тылу. До получения пополнения. Начали переформирование в составе армейского запасного полка 3-й армии. Питание стало значительно хуже, чем на передовой. По штатному расписанию в роте было несколько лошадей, но сверх штата всегда имели лишних и поэтому с лёгкостью пускали их на мясо. Или же меняли у местного населения на самогон. В тылу наркомовские сто грамм не выдавались, поэтому приходилось обеспечивать себя самим.

Командиры взводов, пользуясь передышкой, писали представления на раненых и особо отличившихся. Писали похоронки. Составляли свежие заявки на оружие и обмундирование.

У продовольственного склада, длинного сарая с узкими окошками, старшина с водителем погрузили в «газик» алюминиевые фляги.

– Что это? – спросил водитель, здоровый мужик, из вчерашнего пополнения. – Бензин?

Старшина закурил. Покачав головой, он безнадежно махнул рукой:

– Если бы... Спирт. Наступление скоро. Без спирта бойцам Красной Армии никак!

В штрафную роту попадали люди в основном неординарные. Тут что ни человек, то своя судьба. Зачастую трагическая.

Каждый день были происшествия.

Как то случились сразу два ЧП подряд. Исчез штрафник из местных. Дезертирство. Отчаянный мужик, если рискнул из штрафной роты дезертировать. Тут исход один – пуля в затылок, даже разбираться не будут. Двое ушли в самоволку.

До войны в этих краях велись торфоразработки, и рабочие жили в прилегающих бараках. Местность здесь была

гнилая и гиблая. Непролазная грязь. Дороги нет. Кругом пустыня, покрытая коричневыми мхами и редкими чахлыми деревцами.

С началом войны всех мужиков забрали на фронт, работали их жёны и дочери, которых звали «торфушками».

Из всех удовольствий только торопливый голодный переписхон, если в бараках появлялся какой-нибудь заваливающий мужичок, да самогон из свёклы или помёрзшего картофеля.

Штрафники завалили прямо к торфушкам.

Зависли на ночь, спеша получить нехитрый набор солдатских радостей.

На ухаживания и тёплые слова времени нет. Да и какие тут могут быть тёплые слова? Не до того. Женщины носили кирзовые сапоги и телогрейки. От них пахло потом и селёдкой. От штрафников невымытым телом и грязным обмундированием.

Но выбора не было, может быть, убьют завтра.

Всю ночь пили и гуляли.

Но утро не задалось. Уходя, в полутьме обули чужие сапоги.

Ещё не протрезвевшие, затаренные самогоном и харчами, нарвались на патруль.

Младший лейтенант с брезентовой кобурой, из которой на ремне торчала наружу ручка пистолета «ТТ», долго проверял красноармейские книжки, выспрашивая, что это за должность – боец переменного состава.

Двое бойцов с винтовками и примкнутыми штыками равнодушно наблюдали за происходящим.

Младший лейтенант оказался дотошным, вцепился, как клещ. Проверив документы, потребовал показать вещевой мешок. Терять самогон было до того жалко, что штрафники рванули бежать.

Старший патруля честно крикнул:

– Стоять! Стоять, вашу мать! Буду стрелять!

Но штрафников гнал старый инстинкт. На хвосте легавые!

Младший лейтенант встал на одно колено и три раза подряд выстрелил из пистолета.

Уйти штрафникам не удалось. Один из них поймал пулю в мякоть ноги.

Патрульные всё же оказались с понятием. Из фронтовиков. Самогон, конечно, конфисковали, но шум поднимать не стали, приволокли нарушителей в роту.

Полученная рана оказалась пустяковой, её просто обработали спиртом и перевязали.

– Должен вам сообщить, товарищ капитан, – сказал младший лейтенант, стесняясь, – у немцев здесь было что-то вроде борделя. Офицеров обслуживали в городе по высшему разряду, а полицаев и солдатню здесь. Немцы ушли, а их б... остались. Если вашим бойцам интересен сифилис и триппер, они могут и дальше продолжать свои романтические встречи.

– Я тебя услышал, младший лейтенант! – сказал ротный и вызвал к себе штрафников.

Раньше они неплохо показали себя в бою. Половков обматерил их, тут же при патрульных зарядил каждому в ухо и пообещал утром расстрелять.

Младший лейтенант побледнел.

– Ну у вас и порядки! За самоволку расстреливаете! – И начал уговаривать Половкова простить штрафников. Капитан дал себя уговорить, потом выпил с младшим лейтенантом. Начальнику патруля подарили трофейный нож и решили о самовольщиках забыть. Причиной ранения посчитали шальную пулю, полученную от отступавших немцев. Такое на войне тоже бывало.

* * *

Хорошо в избах ночевать, но избы не для штрафников.

Народец в роте подобрался лихой. Им что немца украсть, что телёнка у мирных граждан, было без разницы.

Поэтому командование старалось максимально ограничить любые контакты личного состава с освобождённым населением. Вне боевой обстановки рота оставалась в поле, в траншеях и землянках. Общение спецконтингента с мирным населением было чревато непредсказуемыми последствиями в виде пьянки, или даже чего-нибудь похлеще.

В деревенских избах расположились штабы, старшие офицеры со своими ППЖ, писаря и всякая тыловая братия.

Штрафную роту отвели в лес. Там заняли старые блиндажи, доставшиеся от немцев.

Вырыли несколько землянок, смастерили печки и стали на новом месте обживаться.

Лес одно название, чахлый и редкий, с выгоревшими участками, там и сям перепаханными следами от гусениц.

Лученков бросил вещевой мешок в углу блиндажа, сел, привалился к мешку спиной и закрыл глаза. Рядом примостился штрафник из их взвода. Лученков скопил глаза. Это был Сизов.

Был он парнем битым-перебитым и предприимчивым. Но, по собственным словам, осуждён ни за что. В конкретику не вдавался.

Как только Глеб прикрыл глаза, Сизов спросил:

– Ты за что устроился?

Старый лагерный закон запрещает расспрашивать – за что, и как, и почему. Схватил срок – и помалкивай, никто тебя и не спросит. Да и не всё ли равно. Если посчитает нужным, расскажет сам.

Лученкову не очень хотелось ворошить прошлое. Ответил коротко:

– За кражу огурцов! – Потом нехотя пробормотал: – Не мешай отдыхать, Сизый!

Сизов был ещё и смешливым. Тут же заулыбался:

– Так на том свете отдохнём! Дело есть. Тут деревня неподалёку. Может быть, смотаемся?

Под предлогом пополнения провианта Лученков и Сизов отпросились у взводного Голубенко в деревню.

Младшего лейтенанта и самого уже достал пшённый концентрат. Подумав и почесав затылок, полез в офицерский планшет, достал из него чистый блокнот. Предмет своей особой гордости, который он использовал для донесений в штаб.

На чистом листе бумаги вывел чернильным карандашом: Командировочное предписание.

Голубенко на секунду задумался, потом добавил:

На выполнение задания. Выдано бойцу переменного состава ОШР... Сизову... и следующему с ним бойцу переменнику Лученкову... в том, что направлены для выполнения задания, по заготовке продуктов.

Взводный поставил жирную точку. Потом полюбовался написанным и с новой строки добавил:

Удостоверяю:

Командир взвода ОШР... Армии мл. лейтенант Голубенко А. В.

Расписался. Документ получился убедительный. Правда, без печати, но лейтенант махнул рукой.

«Кому вы на хрен нужны в этой глуши. В крайнем случае дальше штрафной уже всё равно не пошлют. Идите. Без жратвы не возвращайтесь».

В последний момент с ними увязался Клёпа.

Он привёл за собой лошадь, запряжённую в телегу.

– Эх вы, фраера! – укорил он. – А харчи как потянете? На горбу? Учитесь у серьёзного человека подходу к делу, пока он жив.

Дорога в деревню шла через лес. В нём уже ощущался приход осени. Пахло прелыми листьями, приближающимися холодами. День выдался на славу! Даже не скажешь, что осень – солнышко, небо шёлковое, чистое, и облачка на нём, как на картинке.

Лошадь особо вперёд не гнали. Ехали неторопливо, поглядывали по сторонам, слушали осенний лес. Лес в октябре словно замирает. Звуки становятся чёткими и такими отчетливыми, что слышны порой за несколько километров.

Умиротворением веяло от леса, от багряно рдеющих кустов рябины. Дрожали зябко от пробегающего ветерка, словно отражение в воде. Желтели изъеденные ржавью листья крапивы. Сверкали горячими солнечными зайчиками редкие лужи.

Через полчаса тряской езды показались несколько серых домов, плетни, колодец со срубом, кривая грязная улица, которая оканчивалась заброшенным кладбищем и разрушенной церковью без креста. От неё еще издали несло мочой, болотом и запустением.

Оглядевшись – деревня казалась вымершей, – они вошли в ворота крайнего дома.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тёсом и подсолнечными будыльями.

Из покосившейся трубы, торчавшей из тесовой крыши, шёл ленивый домашний дымок.

В огороде, возле кучи с картофельной ботвой, от которой несло запахом прели, стояла и таращила жёлтые глаза коза.

Рядом с ней была хозяйка, усталая женщина в платке и куртке, перешитой из немецкой шинели.

Клёпа долго о чём-то с ней переговаривался. Передал ей несколько старых шинелей, оставшихся после убитых. Клёпа имел к старшине подход. У него этого добра навалом. Потом призывно махнул рукой.

– Заходи, касатики!

Вместе с хозяйкой поднялись на крыльцо. Столбики, подпиравшие кровлю, были иссушены солнцем, почернели и потрескались от влаги, точно старые кости. Один за другим нырнули в полутёмные сени. Там пахло яблоками и сушёным укропом.

В темноте нащупали дверь, обитую тряпками и лохмотьями войлока, с хлябающей скобой.

Спёртый воздух непроветренного жилья ударил в нос. Низкий потолок. Закопчённые бревенчатые стены. Маленькие, грязные, еле пропускающие дневной свет окна. Земляные неров-

ные полы. От перепачканной сажей русской печи, занимающей добрую четверть хаты, вдоль стен деревянные лавки, застланные грязным тряпьем. Никаких простыней и наволочек на подушках. Лавки вдоль стен да самодельный стол со столешницей из оструганных несклеенных сосновых досок. В углу под потолком, на полке старая и закопчённая икона Николая Чудотворца.

При тусклом каганце у стола сидел старый дед, с белой трёпаной бородой и в стоптанных валенках на тощих ногах.

Сосредоточенно уставясь перед собой, он, похоже, находился во власти своих старческих дум и никак не отреагировал на их появление, только поднял от пола рассеянный взгляд.

Лученков встал на пороге и поздоровался. Старик прищурился на него и молча кивнул.

Вместо правой руки у него была культя. Рукав рубахи аккуратно зашпилен булавкой.

Сизов увидев старика, закричал.

– Здорово дед, сто лет! Клешу на войне потерял или засунул не туда?

Лицо старика просветлело, и он охотно заулыбался. Его рот неожиданно оказался полон крепких молодых зубов.

Хозяйка, сняв куртку и платок, оказалась женщиной лет сорока, одетой в длинную тёмную юбку с засаленным передником и ситцевую кофточку. Ухватом достала из печи чугунок, заглянула, приподняв крышку:

– Картошка уварилась. Есть будете?

Хозяйка поставила на стол большую деревянную плошку с дымящимся картофелем, хлеб, миску капусты и солёных огурцов. Потом, мелко крестясь, достала из подполья глиняный глечик с какой-то мутной жидкостью.

Пока Лученков и Сизов помогали хозяйке накрыть на стол, Клёпа размотал горловину кувшина и принялся к содержанию.

– Надо бы пробу снять, хозяйка! А то вдруг несвежий продукт. Сама понимаешь, как можно боевым товарищам принести испорченный товар!

Хозяйка удивилась.

– Чего его пробовать. Самогон он и есть самогон. Всю жизнь у нас его из буряка гнали, мужики пили и никто не отравился.

У хозяйки нашлись и гранёные стопки.

Старик прочёл молитву, молча подал знак наливать.

Поднятый над столом глечик с мутным самогоном поклонился каждому. Луч осеннего тусклого солнца заглянул в окно, торо-

пливо пробежал по дощатому выскобленному столу. Спрятался за печкой.

Клёпа обвёл всех шалыми глазами и сказал:

– Выпьем за воровской фарт. За то, чтобы на войне нас не убило до смерти.

Сизый потянулся к нему стопкой. Лученков вопросительно взглянул на хозяина. Тот возвёл глаза к потолку.

– И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое...

Сизый психанул:

– Какое тут на хрен тело моё?! Первач – лучше не бывает.

– А ты не перебивай, – строго сказал хозяин. – Прости им, Господи, не ведают сами, что болтают. Сосуд диавольский – но да будет на сей раз не во зло, а на пользу.

– Значит, каждый пьёт за своё, – нашёл компромиссное решение Клёпа.

Дружно звякнули наполненные стопки. Выпили молча. Глеб и Сизый потянулись за капустой.

Клёпа несколько секунд посидел зажмурясь, как бы прислушиваясь к тому, как самогон проваливается в его желудок, и тряхнул головой:

– Иы-ыых, хороша б..!

Хозяйка мазнула по его лицу растревоженным взглядом, поправив платок, полезла в погреб.

Старик крикнул, одной рукой принялся сноровисто сворачивать самокрутку.

– Распустилось нынешнее войско при власти безбожной. При женчине матерно выражаться не стесняются. В старое время...

Его не слушали. Штрафники торопливо ели. Некоторое время слышалось сопение простуженных носов и голодное чавканье.

Раскрасневшаяся хозяйка принесла из погреба кусок сала.

Дождавшись когда она выйдет в сени, Клёпа, подмигнув, пощелкивая пальцами:

– А можно здесь и тормознуться. Я не против. Бабочка похоже тоже. Отчего солдат гладок? Поел да на бок!

– Ну, правильно, правильно – кивал старик, роняя крупный пепел на пол. – Правильно... Вот я помню ишшо в первую Германскую...

В избе мерцал тусклый свет. За оконцем наплывали ровные небесные сумерки.

(Окончание следует)